Юрий Витальевич Мамлеев

ВОСПОМИНАНИЯ



Юрий Мамлеев

ВОСПОМИНАНИЯ



2017

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)
М 22

ISBN 978-5-9909614-2-5

Юрий Мамлеев
ВОСПОМИНАНИЯ
М.: – Издательская группа Традиция, 2017. – 296 с.: ил.

Первое издание ранее не публиковавшейся книги классика современной русской литературы Юрия Витальевича Мамлеева (1931–2015).

Юрий Мамлеев – не только уникально одаренный прозаик, поэт и философ, прозревавший сквозь видимую реальность бездны метафизического бытия, но и человек, который впитал в себя неповторимую атмосферу неконформистской творческой Москвы 1950–1970-х годов и который во многом сам эту атмосферу создавал. Этим воздухом, этим движением мысли и чувств Юрий Витальевич дышал и в долгие годы эмиграции, и после возвращения в «Россию Вечную», как он называл, чувствовал и понимал нашу Родину.

Его мемуары, охватывающие всю жизнь автора, начиная с самого детства – бесценный памятник русской культурной жизни того времени в Советском Союзе и на Западе, раскрывающий новые тайны творчества этого великого писателя.

Книга Юрия Мамлеева «Воспоминания» продолжает «мамлеевский» цикл издательской группы «Традиция».

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Дорогой неизвестный читатель!

Что можно сказать о человеке по итогам его земной жизни?

«Или хорошо или ничего, кроме правды», – так звучит полная фраза, сказанная некогда известным древнегреческим политиком и поэтом Хилоном из Спарты.

Издательская группа «Традиция» представляет вашему вниманию последний земной труд Юрия Мамлеева – «Воспоминания».

История одного человека – это всегда исповедь, подлежащая взвешиванию на великих весах психопомпа для определения будущей дороги.

События, даты, люди…

Сквозь пеструю ткань временных последовательностей пытливый ум проследит трудные этапы становления человеческой инкарнации в этом подлунном мире.

Несомненно, каждый читатель найдет в этой книге свои восхищающие струны и свои противоречия. Однако общим будет желание сверить, насколько земные жизни соответствуют высокой планке стяжания высших добродетелей.

От страшных Шатунов через персональный Гамбит к личному откровению России Вечной – вот квинтэссенция пути Юрия Мамлеева. Вот призма, сквозь которую Воспоминания отражаются в Вечности живой тканью становления.

Храни Вас Бог, Юрий Витальевич!

БЛАГОДАРНОСТИ

Большое спасибо

за помощь в работе над книгой

Игорю Дудинскому,

Илье Егармину,

Сергею Жигалкину,

Тимофею Решетову,

а также всем фотографам,
запечатлевшим моменты истории

СОДЕРЖАНИЕ



Часть первая. На Родине



Детство

Вселенскому сну я не верю,
Превратив этот ужас в покой,
Я стою у таинственной двери,
За которой я стану собой.

Юрий Мамлеев

Одиннадцатое декабря 1931 года. День, когда я появился на этом свете, или, как принято говорить, родился. Мои родители принадлежали к разным семьям. Отец, Виталий Иванович Мамлеев, был дворянского происхождения. Я хорошо помню его мать, мою бабушку, помещицу из Пензенской губернии. Моя же происходила из семьи купцов-староверов. Её девичья фамилия — Романова. Однако семья эта довольно быстро европеизировалась, и к началу XX века все следы старообрядчества сгладились; моя бабушка по материнской линии, Полина Кузьминична, прабабушка Зинаида и её сестра Елена жили уже вполне современной жизнью.

Эта семья довольно быстро расцвела. Мои мама и тётя получили блестящее образование и ни в чём не уступали представителям дворянских семей. Они часто выезжали в Париж. Как раз к началу революции моя мать закончила гимназию, а это означало, что она владела несколькими иностранными языками. Образование в царской гимназии давалось блестящее, с такими дипломами в советское время без разговоров принимали в высшее учебное заведение.

Насколько я могу судить, никаких особых трений с советской властью у маминой семьи не было, несмотря на их купеческое происхождение. Моя тётушка, тогда ещё студентка медицинского института, и мать, впоследствии студентка факультета экономгео-

графии МГУ, приняли-таки революцию. Помню, как Елена Петровна, сестра матери, возмущалась, что, мол, непонятно, почему это одни люди могут владеть фабриками и заводами, а другие — нет? Это, дескать, несправедливо. Короче говоря, революционный пыл овладевал многими, независимо от их происхождения. Ярыми революционерами ни моя мать, ни тётушка, конечно, не были — они были образованные, нежные девушки из русских семей и хотели просто учиться. В итоге Елена Петровна успешно закончила медицинский, вышла замуж за профессора медицины и сама стала профессором. У неё родились сын Володя и дочь Ирина; дочь родилась уже в начале сороковых. Мама, владея пятью иностранными языками, успешно занималась переводами и трудилась на кафедре экономгеографии МГУ.

Что касается отца, то его профессия была более экзотической — он был психопатологом. Не психиатром, а именно психопатологом — это более широкое понятие, объемлющее любые нарушения в психике человека, в том числе не имеющие отношения к собственно психическим болезням, а являющиеся просто определёнными искажениями характера, скажем, под влиянием среды или иных факторов. Видимо, он был прирождённым психологом, поскольку был человеком внутренней ориентации. Наша квартирка в Южинском переулке была буквально завалена литературой по психиатрии и психопатологии, которую я в ранней юности с интересом изучал. Кроме всего прочего, отец был спортсменом, очень физически сильным мужчиной, чего не скажешь о матери.

Своим первым местом обитания я помню именно Южинский. Это имя переулку было присвоено советской властью в честь актёра Александра Южина-Сумбатова, который здесь когда-то проживал. А до советской эпохи (как и в настоящее время) переулок назывался Большой Палашёвский. Такое имя он получил потому, что в допетровские времена в этом месте жили палачи. Когда

наша семья оказалась здесь, это был уже переулок не без эстетических моментов, и его древняя история выветрилась из памяти людской. Одним своим концом Южинский выходил на Пушкинскую площадь; рядом располагалась школа №122, где я закончил десятилетку. Другой выход, через перпендикулярный Богословский переулок — прямиком на Тверской бульвар, отмеченный русской классикой и потому сам ставший классикой. В этом месте удивительно сочетались нежность и историческая глубина. Здесь не покидало ощущение, что вот по этому самому бульвару проходили многие великие люди России — поэты, писатели. Венчал бульвар знаменитый памятник Пушкину. Здесь же выступал и Достоевский со своей знаменитой «Речью о Пушкине».

Неподалёку были Патриаршие пруды — тоже место типично московское. Весь этот район в мою бытность там, то есть с начала 30-х по начало 70-х годов двадцатого столетия, являл собой именно настоящую старую Москву с её маленькими булочными, низкими домиками. Печать русского городского духа лежала на всём; бывавшие здесь русские писатели и поэты не могли не создать совершенно уникальную ауру этого места. Это было место отдохновения и спокойного погружения в творчество, в другие миры.

Наша семья занимала дом номер 3, который был снесён в конце 60-х годов. Это была отштукатуренная двухэтажная (не считая подвала) постройка начала XX столетия. Квартира №3 располагалась на верхнем этаже и состояла из шести комнат, если не больше. Раньше, до революции, здесь обитала семья учителя гимназии. Квартира была с удобствами — телефон, туалет, кухня. Мы были единственными, кто занимал две комнаты. Остальные ютились теснее. Мы — это отец, я и мать. Рядом была комната бабушки Полины Кузьминичны, замечательной и образованной женщины — недаром её вторым мужем после смерти первого был художник старого русского направления — реалистического, но

очень московского, нежного, в духе московских храмов и двориков. Его картина «Храм Христа Спасителя» висела в бабушкиной комнате. Полину Кузьминичну я называл «большая бабушка». А «маленькая бабушка» — это была мать отца, добросердечная русская помещица, чуть ли не сошедшая со страниц романа Гончарова «Обрыв». Она жила в доме, неподалёку от нас, в крошечной комнатке.

Квартира в Южинском была мне родным домом — меня там знали с детства и относились в основном доброжелательно. В детстве у меня был друг Вадим, мой ровесник. Его мать, Софья Наумовна, добрая и образованная женщина, водила дружбу с моей бабушкой. Надо сказать, что все эти люди родились ещё до революции, и поэтому отпечаток российского сознания (я не говорю, что все они были православные, верующие; это другой вопрос) лежал на них, и это значительно смягчало конкретную бытовую жизнь. В лице моей бабушки и моей матери, которая родилась около 1900 года (отец родился тоже приблизительно в это время), я видел лица старой России, которая, по существу, была вечной.

Так текли мои детские годы. Наша семья часто выезжала на дачу, и там, на природе, мне открывался целый огромный мир. Что преобладало в моём сознании в детстве? Это сложный вопрос. Конечно, было то, что проходило через сознание всех детей, — это сны, состояния «на грани», когда ребёнок чувствует больше, чем взрослый во многих отношениях. Свой первый рассказ я написал в детстве — мне было лет шесть или семь. Он назывался «Волшебный фонарь», и сюжет там был такой, что обычный уличный фонарь перенесли на какое-то другое место, которое оказалось волшебным, и с этим фонарём начали происходить чудеса.

В те годы организовывались детские группы для изучения иностранных языков; в 30-е это было очень распространённое явление. Было общение между детьми — мальчики и девочки вместе,

и это украшало жизнь. Доминировал, конечно, немецкий язык. Германия… В то время эта страна обладала политическим и даже культурным влиянием, поскольку все, я думаю, ожидали именно от Германии некоего решающего слова, некоей развязки. Недаром говорили, что Первая и Вторая мировые войны — суть одна война; только и было, что двадцать лет перемирия, а потом началось такое, что превосходило понимание человека XIX столетия.

Отца я помню довольно плохо. Дело в том, что он был арестован по 58-й статье (антисоветские высказывания). Это была известная статья, по которой проходило очень много людей, особенно из интеллигенции, недовольных советской властью.

Мама никогда не рассказывала мне, что с ним произошло, она оберегала меня в душевном плане. Я узнал о его судьбе только впоследствии, а потом, уже в 1943 году, мы получили сообщение, что он умер в лагере. Такая же участь постигла и отца моей жены Марии. Но на тот период времени мы ещё не знали друг друга — мы были детьми и жили в разных городах.

И всё-таки в памяти сохранились некоторые моменты, связанные с отцом. Он часто брал меня кататься на лыжах на Воробьёвы горы, ещё куда-то… Он был довольно замкнутым человеком, и всякий раз, когда высказывался, говорил нечто не совсем ординарное. Он всегда шёл наперекор. Я рано начал читать, и прежде всего, конечно, Пушкина. Я сказал отцу, что Пушкин — мой любимый поэт. Отец стал возражать — мол, ты лучше читай Тютчева, Тютчев — поэт, гораздо более глубокий, чем Пушкин. Это меня поразило. Я задавал ему разные полудетские вопросы, характерные для того времени. Однажды во время прогулки (это был 37-38 год) я спросил его:

— Папа, а кого я должен больше любить: тебя или Сталина?

Отец довольно спокойно и твёрдо ответил:

— Конечно, Сталина.

Это показывает, что за атмосфера царила в стране. Потом я ему задал уже другой вопрос:

— Папа, а Бог есть?

Он ответил:

— Не знаю.

Тоже, в общем-то, показательный ответ, потому что интеллигенция в значительной мере была растеряна в смысле высших ценностей. Первая мировая война, развязанная в Европе, была настолько чудовищной, что многие просто потеряли веру и пребывали в каком-то странном, промежуточном, духовно-сумеречном состоянии — то ли Высший Разум есть, то ли его нет…

Забегая немного вперёд, замечу, что атеизм как официальное мировоззрение на меня произвёл гнетущее впечатление. Поразил меня, главным образом, почти молниеносный переход от веры к полному неверию. Помню, мне было лет десять, я сидел в садике (не в детском, а в смысле зелени) и воображал жизнь дореволюционной России, когда люди верили в Бога. Что же произошло сейчас, почему ситуация столь радикально изменилась, и такая бездна отделяет советский мир от мира Российской империи? Я подумал, если люди верили в Бога и в бессмертие души, то жизнь должна быть совершенно другой. И взгляд на неё должен быть другим — более нормальным, более жизненным, более возвышенным, соответствующим душе человека. И меня поразило, насколько во времена неверия всё переменилось: человек вдруг стал обречён на короткую, жалкую жизнь, а потом — небытие, полное, окончательное и бесповоротное. Меня поразила эта чудовищная разница, этот разрыв… Но тогда всей глубины этой катастрофы я не постигал — мол, ещё вся жизнь впереди, что-нибудь придумаю. Мать моя сторонилась подобных вопросов и больше занималась своими нежными чувствами, охраной моей жизни и обучением меня иностранным языкам, которыми она владела в совершенстве.

Войну мы встретили на даче. Это было в 1941 году под Новым Иерусалимом, недалеко от Истры. Место было живописное, рядом протекала мелкая речка Истрёнка, словно созданная для детей. До 22 июня моя жизнь была счастливой, я уже начал знакомиться с классикой, и, помню, именно этим летом, в начале июня, я читал Гоголя, его страшные мистические рассказы. Ничего особо не понимал, но дыханием неизвестного веяло. Я сидел в кресле в саду; рядом — ёжик и «Страшная месть».

Помимо литературы и всего сказочного, уже в 38–39 годах я интересовался политикой. В Москве, в районе Тверского бульвара, на стендах развешивали газеты, я их внимательно читал, и мне было интересно узнать, что, например, есть на земле такой город Париж, да и бабушка много говорила о нём, а мама до революции была во Франции... Почему немцы напали на Францию? События мелькали передо мной. Я задавал взрослым вопросы, но они часто давали мне неверные ответы, и это показывало, насколько непредсказуема история. Когда я спрашивал бабушку и дедушку-художника, возьмут ли немцы Париж, они отвечали:

— Никогда не возьмут. Американцы не позволят.

А между тем Париж взяли, и Америка оказалась ни при чём. Общий тон советских газет и так называемой пропаганды был весьма ободряющим; внушалось, что наша армия непобедима, и если кто-то нападёт на нас, то он будет разбит в кратчайшие сроки, тем более, на помощь к нам придёт рабочий класс Германии и любой европейской страны, которая решит на нас напасть.

В день 22 июня я, как и все, думал, что это будет такой же день, какие были до него. Будут ёжики-зверушки, чтение русской классики, и жизнь будет течь в духе соседства и даже переплетения советского и сказочного. Вообще, любопытно, что несмотря на все «антибожественные» действия советской власти, народ жил сокровенной, внутренней жизнью, совершенно другими ценно-

стями. Конечно, он был разделён в этом отношении, то есть не было «единства народного духа», но тем не менее... Я помню, как нас, детей, водили в театр на «Синюю птицу» Метерлинка, и это не было запрещено. Сказочное вплеталось в суровую атмосферу XX века, на дачах жили интеллигентные московские семьи, похожие на ангелов девушки — дочери тех людей, которые родились ещё до революции; в общем, атмосфера была где-то даже чеховская, причём в лучшем смысле этого слова.

Двадцать второго июня я побежал на почту. Надо было — я ведь уже читал газеты. Мне шёл десятый год. И когда я прибежал туда, как раз громко объявили, что немцы бомбят русские города и что началась война. Я сразу подумал: почему немцы на нас напали? Они ведь будут разбиты в кратчайшие сроки? Я был в недоумении и был обрадован, потому что считал, что война скоро закончится, враг будет разбит. Кстати, такого мнения придерживались и многие взрослые — настолько велика была мощь советской пропаганды, основанной на абстракциях марксистской теории, на вере в рабочий класс буржуазных стран и так далее. Но абстракции абстракциями, а жизнь жизнью. Все рабочие Германии либо работали на военных заводах и работали, надо сказать, с огоньком, либо активно сражались в рядах немецкой армии. Национальное чувство попросту раздавило всякие классовые настроения, и та война подтвердила, что национальное чувство несравнимо глубже классового, что их даже смешно сравнивать.

Я радостно прибежал на дачу с криками:

— Мама! Мама! Германия на нас напала!

Мама посмотрела на меня и сказала:

— Не говори чушь. Этого не может быть.

Но я кричал, что это правда и что Германия скоро будет разбита. Тогда мама всё-таки вняла моим словам и пошла к соседке по даче, которая и открыла ей страшную правду. Мама при-

шла вся в слезах. Она, которая пережила Первую мировую, знала, что такое европейская война, что творилось на фронтах. Она рыдала. И тогда я почувствовал неладное, ощутил, что что-то не так, что какая-то чёрная туча образовалась в пространстве. Мои ощущения были такого рода: во-первых, сразу изменилось психологическое состояние людей — мы сразу попали в другой мир, это был мир войны, мир защиты родины. Я видел, будучи ещё на даче (мы ещё не успели переехать в Москву), первые картинки войны. Вдруг неожиданно… я сидел на террасе, кто-то был рядом, пудель, кажется, и вдруг — такой неимоверный грохот над нашей крышей! Как будто сам гром небесный падал на нашу дачу. Я закричал, схватился за голову… Все вокруг тоже были в каком-то взрыве эмоций. Но не успели по-настоящему проникнуться ужасом, как всё это пролетело над нами и упало недалеко, там, где обрыв, где река Истрёнка. А вдали виднелся Новоиерусалимский храм. Этот храм — чудо православной веры, я его видел из окна и до войны, и он завораживал меня своей мистической красотой. Я сразу увидел, ещё не осознавая вполне, поскольку это было под вуалью запретов, что значит храм. Я понял, что это другой мир, что это то, что возносит человека до состояния, с которым он не знаком на земле. Храм этот был невиданной красоты и стоял, окружённый русской природой, такой глубокой, с её нежными и тихими тайнами, изгибами, с её аурой, отвечающей русской душе, — это был потрясающий пейзаж. И вот именно на эту землю, среди этого пейзажа, упал первый увиденный мной немецкий самолёт, сбитый нашими зенитчиками. Потом мальчишки бегали туда, хотя самолёт был оцеплен, лётчики мертвы, машина фактически сгорела, осталась груда того, что совсем недавно символизировало мощь великой Германии.

А однажды ночью я видел, как немецкий самолёт летел к Москве… И прожекторы ловили его среди бездонного звёздного неба. Самолёт попал в круг ослепительного света и пытался вырваться,

но свет уже не отпускал его. А потом раздался залп зенитной артиллерии, и машина была сбита. Стреляли молодые женщины, военные артиллеристы. Их брали на эту службу, поскольку женщины более точны, более аккуратны, а чтобы сбить самолёт, нужны очень точные расчёты.

Волею судеб нас эвакуировали в Пензу. Там я и мама жили до конца 1943 года. Это было очень суровое время, отец уже был в лагере, но тем не менее жизнь продолжалась. Даже в военное время. В Пензе жили наши родственники по линии отца, были знакомые матери. Рядом, в Саратове, эвакуировалась мамина сестра, Елена Петровна. В общем, были связи, знакомства, и мы не пропали. Немцы были далеко от Пензы, и хотя снабжение там было адекватным тому состоянию, в котором оказалась страна, всё же его было достаточно, чтобы нормально жить и работать. Воспоминания были тяжёлыми, и вместе с тем была уверенность, что моя жизнь продолжится, что всё вокруг продолжится. Я не представлял себе, что мы можем проиграть эту войну, потому что в мире, в который я был погружён, при всей его сложности (я и не знал, насколько это всё сложно), я видел и знал много людей, у которых просто светилась душа. И русский язык был для меня, как нечто, то ли поднимающееся из глубин моей души, то ли нисходящее откуда-то сверху… В общем, это была музыка сфер. И мне пришлось использовать силу русского языка и моего воображения, потому что иногда я попадал в непростые ситуации…

В Пензе было много полубандитов, молодых людей лет шестнадцати, которых ещё не забрали в армию. Это были уже фактически взрослые уголовники. Уголовники эти были странные, разные, интересные. Например, в бытность нашу в Пензе к нам приходил растапливать печку некий сосед, молодой человек, который считался, по-современному говоря, уголовным авторитетом. Он обожал стихи Пушкина и читал их наизусть, растапливая печку.

И любил он огонь, любил смотреть на пламя, и у меня с ним были хорошие отношения. А другой уголовник однажды заступился за меня. В городе была местная шпана, хотя на шпану эти ребята не походили, скорее, это была такая местная маргинальная знать, мальчишки лет 15–16–17, короли улиц. Был там Жарок — настоящий авторитет полуворовского мира. Многие из этих юношей любили брать меня в плен, потому что я умел рассказывать сказки. Я сочинял разные сказки. Они уводили меня в городской лесок, собирались вокруг меня, я сочинял им всевозможные истории, фантастические и реалистические, сказания… Они были очарованы. Это настолько очаровало их, а особенно Жарка, что он и его ребята объявили полууголовному, хулиганскому миру улиц, чтобы меня не трогали. А если на мою личность кто-то посягнёт, то они должны будут встать на мою защиту… Я помню, сидел в каком-то полупарке и рассказывал этим ребятам очередную сказку. Вокруг меня было человека четыре, а моя мать искала меня, я слышал её голос:

— Юра, Юра, где ты?

Я уже давно должен был быть дома. Но эти ребята потребовали, чтобы я не отзывался и рассказал им всё до конца, и только тогда отпустили. Во дворе меня прозвали «Пушкин». Видимо потому, что я любил стихи великого поэта. Но под конец меня это прозвище стало раздражать.

В общем, всё было не так страшно и более или менее безобидно, учитывая то, что творилось в стране, которая встречала полчища фашистов, направленные прямо в её сердце. В Пензе, на площади, висела огромная карта Советского Союза, на которой красной лентой была обозначена линия фронта. Около неё часто собирались люди и с какой-то надеждой смотрели — вдруг эта лента резко повернётся, туда, на Запад… Она часто поворачивалась и на Восток. А в 1943 году лента стала приближаться и захватывать отвоёванные российские земли.

В конце 1943 года мы с мамой вернулись в Москву. Елена Петровна, сестра, на тот момент уже была вместе с мужем в Москве и сумела организовать наш приезд. Мы отправились, и тут произошла история. Мама во второй раз потеряла то, чего терять было никак нельзя. В первый раз она потеряла продовольственные карточки. Тогда это было что-то страшное — эти карточки не подлежали восстановлению. В тот раз карточки ей чудом вернули солдаты, проходящие через город. Эти солдаты напоминали живые скелеты, но они оказались настолько честными… В них было то, что можно назвать вечным сиянием человеческой совести. Надо сказать, что подобных проявлений человеческой души во время войны было немало — например, русские женщины отдавали пленным немецким солдатам хлеб, хотя у самих ничего не было. Немцы считали это каким-то фантастическим явлением.

На сей раз мать потеряла билеты в Москву. Но мы всё равно сели в поезд и поехали. В Рязани была проверка, и нас высадили, как и многих других безбилетников. Мы оказались на вокзале; спать пришлось на полу, кругом — несчастные люди. Но матери удалось дозвониться до сестры, и та, используя своё положение, — ведь она была профессором, изумительным врачом, да и муж её тоже, — помогла нам. Мы вернулись домой.

Наша квартира, в которой мы жили до войны, сохранилась. Там были две смежные комнаты — как раз для нас с матерью. Мама, благодаря своим связям в научных кругах, устроилась на работу в библиотеку имени В.И. Ленина. Также нам помогала её сестра, которая вплоть до смерти мамы отдавала ей часть своей зарплаты. Это было каждый месяц — этакая маленькая зарплата. Сама Елена Петровна, отличный учёный, была замечательно устроена в социальном смысле.

Я был рад Москве. Это была моя малая родина, как говорили тогда в Советском Союзе. Я, мальчишка, был в восторге от метро

и катался на нём в разные стороны. Тогда же началось моё увлечение футболом — не в качестве игрока, но в качестве болельщика. Тогда, в 1944-ом, уже играли столичные команды на первенство Москвы; общая атмосфера была тихой, невзирая на войну. По крайней мере, я так чувствовал это. Было ощущение, что война скоро кончится, что наши войска войдут в Германию. В том же году произошло событие — парад пленных солдат Вермахта по Садовому кольцу. Выбежало смотреть много людей — мальчишек, девчонок и взрослых. Пленные шли колоннами, народ глазел на них, но не агрессивно. Какой-то мальчишка подбежал вплотную к колонне и закричал:

— Гитлер капут!

И неожиданно немец из колонны выкрикнул:

— Зер гут!

Я видел, как на него бросил взгляд идущий сзади — это был взгляд глубинного фанатика. Я тоже всматривался в лица, и мне казалось странным, что эти люди, с которыми мы воевали, — люди как люди, некоторые красивые, даже добродушные, другие явно злые. Часть была в понуром состоянии, а часть, наоборот, в оживлённом… Эти вторые, видимо, были рады тому, что они выжили в этой смертоубийственной войне. Я удивлялся, что эти довольно обычные люди могли превратить в пепел Москву, здания, людей, уничтожить всё то, чем я жил, чем был окружён, смести всю мою реальность… Они проходили и проходили, мерным шагом, как-то спокойно. И, видимо, только у самых фанатичных внутри горел сжигающий их самих огонь ненависти. Остальные, как мне казалось, были рады.

Эта жизнь, года за полтора до победы, была украшена одним событием, которое произвело на меня совершенно внереальное впечатление. А дело-то было простое. На лето меня отправили в пионерлагерь. Это было место для мальчишек и девчонок того же возраста, что и я. Мне тогда было лет двенадцать. Замеча-

тельным в этом лагере было то, что он располагался в парке Сокольники, который переходил в дремучий лес Лосиного острова, уводящий в Подмосковье. Наш лагерь был расположен на границе дремучего и цивилизованного лесов. Были хорошие вожатые, кормили для того времени неплохо, ну и всё остальное было как будто как обычно. А необычное (потому что обычного не надо) было в том, что среди этих мальчишек и девчонок царило какое-то райское отношение друг к другу. Я чувствовал себя как в раю. В каком плане? Это была непередаваемая атмосфера. Мы относились друг к другу, причём это было совершенно естественно, с какой-то трогательной любовью и нежностью. И это выходило за всякие рамки отношений между людьми активного подросткового возраста, когда мальчишки любят драться и так далее, когда бывают случаи детского насилия, насмешек и прочее. Это, конечно, вполне нормально, но здесь… Здесь было ощущение, что дети превратились в каких-то ангельских существ, сами не подозревая об этом, это было естественно, трудно было даже впоследствии пережить в таком значительном коллективе людей такое нежное и чистое отношение друг к другу. Это сочетание чистоты, дружелюбия и нежности так обволокло меня, что я действительно почувствовал, что живу в каком-то раю. О чём были наши разговоры? Да разные, обычные. Помню, кто-то из мальчишек как-то спросил меня:

— А кто верил в Бога?

Я ответил:

— Ну, многие писатели.

И почему-то в числе других упомянул Горького. Ведь Горький действительно, пусть и по-своему, но в Бога верил. И когда я ответил, мальчишка развёл руками и сказал:

— Ну, раз такие люди верили (а я в числе прочих упомянул Пушкина, Толстого; Достоевского — ещё нет), значит, Бог точно есть.

Это был самый философский разговор в нашей среде.

Но это время закончилось, и когда я покинул пионерлагерь и очутился на улицах Москвы, я почувствовал, что ушёл из рая и что рай не может быть везде. Вроде нормальная, хорошая жизнь. И люди хорошие. Но одновременно здесь присутствовало зло. То, что зло есть, я почувствовал ещё раньше, в глубоком детстве, но по исходе из «рая» вспомнил об этом. Окружающая жизнь была сложной, но нормальной. К нам прекрасно относились в нашей коммуналке, но, конечно, это был уже далеко не рай…

Что до зла, то его я впервые ощутил в детстве, при странных обстоятельствах. Мы тогда жили за городом, и я попал на дачу наших знакомых… мне было лет пять, и до этого времени я жил, если не в раю, то, по крайней мере, в такой… по-детски чистой реальности. И если есть рай на земле, то, наверное, всё-таки в детстве… Это такое состояние, когда всё тебе кажется доброжелательным, добрым, по-детски возвышенным.

И вот я очутился на этой даче. Хозяева на тот момент куда-то ушли, дверь была не заперта, и я вдруг оказался перед столиком, на котором лежала очень красивая вещь. Я сейчас не могу припомнить, какая именно; вероятно, обычная безделушка. Но мне она показалась невероятно красивой, даже драгоценной. И у меня возникла мысль украсть её. Эта мысль настолько меня тогда потрясла, что я остановился как вкопанный. Потому что я почувствовал, что с этой мыслью в меня вошло зло. А раньше я видел зло лишь отдалённо — детский мир защищал меня. Но я видел некоторые угрожающие явления в природе. Был, например, случай, когда я играл на даче в саду, и вдруг почувствовал спиной, что на меня что-то надвигается. Это что-то была смерть. Я заплакал и ринулся в сторону, буквально на четвереньках, и тут прямо на то место в песочнице, где я только что копался, упало огромное дерево. Почему оно упало, я уж не знаю. Может, была непогода, ветер,

а может что-то в самом дереве подгнило… А рядом стоял мальчик. Я подошёл и шёпотом спросил:

— Видал?

Он молча кивнул головой.

Я тогда ощутил, что в природе есть что-то враждебное человеку, а не только хорошее. Я почувствовал, что нечто странное есть в мире. Но, оказавшись на даче соседей и стоя перед этой красивой безделушкой, я понял, что зло может войти в каждого человека, в том числе и в меня. Это тогда так поразило моё маленькое существо, что я оторопел. Я не взял, конечно, этот предмет, но сам факт, что я мог его взять, что у меня возникло желание сделать это — потряс меня до глубины души… Я почувствовал, что зло может в общем-то легко овладеть человеком, что оно может появиться изнутри человека, что в нём может быть зло.

Между тем в Москве моя детская жизнь продолжалась. Я и потом бывал в пионерских лагерях, тоже почти в это же время. Там было хорошо, но такого ощущения, как в первом лагере уже не было. Там все дети как на подбор были как будто из какого-то забытого всеми христианского времени, когда люди по-настоящему любили друг друга. Если такое время было. Любить-то любят и сейчас, но я имею в виду какую-то совершенно спонтанную, чистую любовь, которая просто охватывала всё, самый воздух этой жизни. Так было в том пионерском лагере. Сами дети, видимо, начинали изумляться миром, им было 10–12 лет, и тем не менее они были такими.

Наконец я поступил в ту самую 122 школу, которую впоследствии закончил. И я запомнил ещё День Победы, 9 мая — всё это шумное ликование, солдаты, которых несли на руках, офицеры; в общем, все были бесконечно рады окончанию войны и главное — победе. Конечно, я тогда не мог, так сказать, ощутить всю грандиозность этого события для истории, для будущего России, которое будет уже на уровне некоммунистической, Новой России,

России XXI, XXII, XXIII веков, когда свершится то, что говорилось в пророчествах. Но радость была и было облегчение.

Потом — обыкновенная школьная жизнь и движение к возрасту, когда человек начинает действительно познавать, куда он попал, в какой мир, на какую планету… На которой живя, он может пропасть. Или на этой планете можно жить и строить будущее — не только во времени, но и после ухода в другой мир.

Школьные годы были трудными, потому что началась дисциплина и все особенности школьной жизни… Я учился там с Вадимом, с которым мы дружили всё это время; он тоже вернулся из эвакуации. Мы занимались какими-то фантастическими играми. Но уже примерно с восьмого класса началось вхождение в ту грозную реальную жизнь, которая окружает всех людей на нашей планете.









1. Отец Виталий Иванович Мамлеев (справа в форме) с дедушкой

2. Мама Зинаида Мамлеева (в девичестве – Романова) у няни на руках

4. Зинаида Мамлеева

3. Юрий Витальевич Мамлеев

Москва, из семейного архива

Школа

Итак, потянулись школьные годы, представляющие собой странную смесь хулиганства и дисциплины. В общем, и жизнь была такой. Первое время — пятый, шестой, седьмой классы — было наиболее трудным, потому что всё то, что я ощущал в детстве, когда душа только вступила в этот мир и была ошарашена им, ушло и уже входило в свои права полувзрослое, мертвящее сознание, которое убивает все тайны и нужные для жизни силы души.

Период был непростой. Правда, в это время, кажется, в седьмом или в восьмом классе, летом я съездил с одним хорошим знакомым, человеком уже взрослым, на его родину, в деревню, в Смоленскую область. Послевоенная деревня это была. Там я приобрёл необыкновенный, бесценный опыт — всей душой впитал дух русской деревни. И потом, когда я уже познакомился с поэзией Есенина, мне многое стало понятно. Мы остановились у родителей моего знакомого — это была православная семья. Были ощущения присутствия того, что невозможно увидеть в городе — некоей скрытой реальности, таящейся в природе.

Мой знакомый был студентом литинститута. Мы с ним спали на сеновале. И был там замечательный телёнок — из живности он мне запомнился больше всего, потому что было трудно предста-

вить себе более милое и жертвенное создание. Тут сразу вспоминается есенинская «Корова».

По возвращении в Москву я вновь окунулся в учебники, в школьную жизнь... Успевал я, конечно, больше по гуманитарным предметам. Хотя и математика давалась неплохо. Но хуже всего дела обстояли с физикой. Однако вскоре произошло одно горькое событие, которое, тем не менее, повлияло на меня особым образом. Умерла бабушка, Полина Кузьминична. Её муж, художник, умер ещё во время войны — у него был туберкулёз. Я помню портрет бабушки начала века. Она была красавицей. На ней было платье в декадентском духе, и от неё веяло изящной красотой Серебряного века.

На похоронах были все родственники — тётушка Елена Петровна и мама. Спустя некоторое время после похорон, которые на меня подействовали, я вдруг ощутил — не теоретически, а явственно — бессмертие души, в данном случае — своей. Описать это довольно трудно, но суть состояла в том, что душа во всей её силе проявилась так, как ей и положено проявляться, о чём я узнал уже впоследствии — вот этот факт проявления души был настолько сильным и настолько в этом заключалось внутреннее осознание, что душа бессмертна, а, следовательно, и я бессмертен, что это поразило меня, но, увы, не получило развития. Я был ошарашен, рад, и главное — я почувствовал, насколько душа важнее не только всего, что есть в мире, но и самого мира со всеми вселенными; что всё это — ничто по сравнению с душой.

Довольно быстро я вернулся в обычное состояние, к обычной жизни, где было общее давление настойчивого духа атеизма, материализма, который носился в воздухе параллельно с необыкновенной душевностью людей — кстати, типично русский пример сочетания несочетаемого, антиномичность, о ко-

торой писал Бердяев. Поэтому в такой обстановке, а я ещё был фактически ребёнком, не было возможности, так сказать, обосновать вышеописанное переживание на уровне духовного, философского знания; это вспыхнуло и ушло в себя. Я продолжал жить между небом и землёй. Это состояние уже расцвело в 8—9—10 классах, когда я стал юношей, взрослым человеком. Влияние тут оказывала не только общая давящая обстановка с одной стороны, но и серьёзные книги, которые я уже начинал почитывать, а также друзья.

Среди школьных друзей я, пожалуй, отмечу Юрия Баранова. Мы шли параллельно — он в восьмом — я в восьмом, он в девятом — я в девятом. Это был, надо сказать, талантливый человек, который впоследствии, окончив Институт радиотехники, стал поэтом. Тогда же, в школьную бытность, он писал слегка сюрреалистические, гротескные стихи, и это приводило меня в восторг, потому что помимо гротеска в них было высмеивание некоторых наиболее нелепых черт советской действительности. Он умел видеть их. Мы пытались вести тихонькую стенгазету, которая называлась «Наша печь» — орган комсомольской организации, созданный при не совсем радостных ритуалах кремации человека. Стихи у него были очень задиристые, в них символически выражалась наша таинственная русская лень, когда хочется отключиться от всего:

Я лежу на печке в золотых лаптях
Гробовые свечки на моих путях
На путях вороны, на путях кресты
Оттого я тронут, оттого остыл.

В этих стихах был любопытный сдвиг, но первая строчка символична — «я лежу на печке в золотых лаптях». «В золотых лап-

тях» — то есть одетый в ауру древнего мира. Это здорово, потому что это выражает какой-то русский символизм: я лежу на печке, значит, я лежу и мыслю, потому что одновременно с русской ленью здесь присутствует подпольное движение мысли. В русском человеке это было всегда, и это замечательно. И золотые лапти — это прекрасный образ, потому что в нём есть и ирония, и сюр, и вместе с тем некая лихая надежда.

Был у меня в школе ещё один друг, которого я знал ещё с тридцатых годов, совсем малышом. Этого юношу звали Анатолий Чиликин. Его мать была из настоящей дворянской семьи, и мы дружили семьями до войны. И там, в этой семье, я, ещё мальчиком, впервые почувствовал ауру ушедшей России, которая, тем не менее, присутствовала. Это было замечательно, незабываемо — в этой семье царила атмосфера образованности, мягкосердечия, человечности. Мама Анатолия работала в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Наши отношения основывались больше на чисто интеллектуальных интересах, которые, конечно, уже пробудились к тому времени, и как раз в девятом-десятом классе я начал знакомство с немецкой философией, поскольку она считалась предтечей так называемого «диалектического материализма». Это нелепейшее, абсурдное учение, выраженное не менее абсурдным словосочетанием, Карл Маркс (который, кстати, во многом выстроил это учение под впечатлением произведений Бальзака, создавшего гениальные картины жизни XIX столетия) и иже с ним с глубокомысленно-серьёзным видом продвигали в жизнь. Одна нелепость сменяла другую. Единственное, что действительно было страшно — это взрыв негодования, которое объяло весь рабочий класс не только России, но и Европы, и всё из-за патологической алчности буржуазии и её наглого поведения, приведшего к Первой мировой войне. В этом была сила марксизма-ленинизма.

Кумирами у меня тогда были Кант и Гегель как две противоположности. Толя Чиликин тоже был ориентирован на философию, которую он использовал как инструмент переосмысления литературы и искусства. Я постепенно вовлекался в этот процесс. Как ни странно, более таинственным мне представлялся не Гегель, а именно Кант с его «вещью в себе». Всё это было в вихре юношеской жизни. Значительно большее влияние, чем философия, на меня оказала русская литература. Книга, которую я прочёл в десятом классе и которая по-настоящему потрясла меня, были «Записки из подполья» Достоевского. Подтекст этой гениальной повести был настолько глубок, что становилось очевидным влияние Достоевского на весь европейский экзистенциализм. Вместе с тем этот удивительный текст проникал в сознание человека и через совершено другую, если можно так выразиться, «восточную» дверь. Но, разумеется, необходимо было углубиться в это произведение, что и произошло впоследствии. На описываемом же этапе я просто был потрясён прочитанным. Я пока не мог сформулировать то, что чувствовал, — для этого требовались метафизические знания и интеллектуальная интуиция. Это пришло потом.

Впоследствии на меня произвела огромное впечатление «Смерть Ивана Ильича» Толстого. И понятно, почему. Здесь сыграла роль совершенно чудовищная художественная сила этого произведения, которая убедительно показала господство смерти над жизнью. Это было страшно. Хотя понятно, что смерть имеет власть лишь на этой земле, а дальше терпит поражение, потому что в конце тоннеля всегда есть свет. Толстой был одержим поиском абсолютной истины и не боялся смотреть ей в глаза, потому что глаза истины — это глаза сфинкса. Видеть истину — это гораздо недоступнее, чем видеть ад.

Также (это было в восьмом-девятом классе) сильное впечатление на меня произвела проза Горького именно в аспекте изо-

бражения потаённой провинциальной жизни, странных субъектов с необычной психологией и видением жизни. Я имею в виду такие его вещи, как «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина». Его странствия «По Руси» были очень для меня интересны. И только в конце школьного обучения появились Блок и Есенин, которые совершенно пленили мою душу.

Разумеется, по окончании школы встал вопрос: куда пойти учиться дальше? Мои школьные учителя по гуманитарным предметам не сомневались, что я пойду на филологический — таковы были мои склонности; здесь и раздумывать было нечего. Но я уже тогда понимал, что изучать литературу в советское время — дело опасное. Я помнил судьбу отца. И моё тогда ещё скрытое мнение поддержал, сам не ведая того, наш замечательный учитель физики, Евгений Рудольфович, — пожалуй, самое интересное лицо в галерее учителей. Это был человек уже пожилой, старой закалки; он был николаевским офицером, может быть, даже служил в императорской гвардии, и одновременно был очень образованным человеком. Разумеется, принимая во внимание такое его прошлое, советская власть запретила ему преподавать в высшем учебном заведении, хотя с его образованием он мог бы спокойно это делать. И именно он почему-то всё время повторял, что тем, кто имеет склонность к литературному творчеству и вообще к гуманитарной сфере, лучше всего идти в инженеры — он не стеснялся выразиться, что инженеры будут нужны при любом политическом строе, намекая на то, что литература — очень опасное занятие. Однажды я присутствовал на каком-то собрании абитуриентов, и я сразу почувствовал, что я там себя обнажу; я услышал, в каком контексте там звучали имена великих поэтов Серебряного века, и после этого мне осталось только развести руками.

Делать было нечего, я внял совету и поступил в Лесотехнический институт на факультет, который давал диплом инжене-

ра лесного хозяйства. Но это была уже совершенно другая история, шёл 1950-й год; к этому времени в мире произошли события громадного масштаба: возник коммунистический Китай, в России появилась атомная бомба, в общем, это определило дальнейшее политическое и историческое развитие мира сего. Мы оказались в ситуации двуполярного мира.



Институт

В институте я сразу почувствовал разницу между школой и высшим учебным заведением. В институте никто тебя особо не контролировал, можно было даже пропускать лекции. И сразу тяжёлые оковы школьной дисциплины упали, я почувствовал себя более свободным в бытовом смысле. Учёба поначалу давалась мне очень легко, учитывая, что шёл первый курс, основанный на общих предметах. В Лесотехническом институте была замечательная кафедра математики, где преподавали известные профессора московской школы.

Поступление в институт ознаменовалось тем, что в 1953 году произошёл своеобразный взрыв в моём сознании, благодаря которому я получил возможность заниматься настоящим творчеством, то есть создавать свой собственный мир, собственный космос и видеть людей так, как до этого их не видел никто. Это был, конечно, переворот, и когда я показал свои первые рассказы, ещё очень неумелые, Толе Чиликину, он, погруженный в психологию творчества, сразу просёк, что это «то». И он сказал мне:

— Ты — писатель.

Хотя, конечно, первые рассказы были далеки от совершенства — я только ещё нащупывал язык и образы...

Итак, началась довольно хаотичная студенческая жизнь. Я сразу вступил в более широкий мир, чем было возможно ранее. В институте меня окружали самые разные люди… С одной стороны — лесопарковый факультет, милые девушки, интриги, с другой — наш факультет лесного хозяйства. Там учились ребята, словно прямо из лесу — в случае чего могли схватиться и за топор. Лесные люди, одним словом. Шутить с такими было опасно.

Кроме того, стартовала и понеслась московская жизнь с её встречами; круг общения значительно расширился. Но я не находил такого рода друзей, какими были, скажем, Анатолий Чиликин, Юрий Баранов и другие товарищи по школьным временам… В общем, всё там было, в этой хаотичной жизни — даже военные лагеря, поскольку в нашем институте была военная кафедра, и мы пару раз окунались в военную жизнь. Делали мы это с жаром и упоением, потому что нам нравилось встречать трудности и преодолевать их.

После учёбы вступала в свои права довольно свободная по тем временам вечерняя жизнь… Помню знаменитый коктейль-холл на улице Горького, где можно было попробовать изысканные напитки в западном духе. Я любил там бывать, это было эстетически интересно. Были встречи с разными людьми, были девочки и мальчики, часто интересующиеся тем, что выходило за рамки социалистических воззрений, хотя и не слишком далеко… Одновременно я посещал могилу Есенина, где собиралась совершенно другая публика. Это были люди средних, даже пожилых лет, но тем не менее надрыв и нечто иррациональное так и светились в их глазах и в том, как они читали стихи великого русского поэта.

Но если говорить о действительно глубинной, мистической поэзии, то, конечно, в этом отношении мной всецело владел Блок. Этот гений проникал в такие тонкости и отражал в себе и страшный мир современности, подобный дантовскому аду, и рай любви к Прекрасной даме, что немного соответствовало раю Данте. Среди

студентов Лесотехнического института было два-три с моей точки зрения интересных человека, но один из них был слишком чувствительным и ранимым, и он не выдержал тягот земного пути. Я имею в виду, конечно, не в политическом, а в экзистенциальном смысле. Он покончил с собой. Но это было всё-таки исключением… Также на нашем отделении обучался совершенно уникальный персонаж. Это был в общем-то хороший парень, добрый, хоть и со странностями. Главной чертой его была совершенно фанатичная, средневековая погружённость в марксизм-ленинизм. Для меня это было не только нелепо, но и смешно. По любому, даже житейскому поводу этот человек обращался к Карлу Марксу, к Ленину или к Энгельсу. К классикам, одним словом. Копался в их сочинениях, письмах, редких изданиях. Например, у него были проблемы в отношениях с женщинами, и он полагал, что только Маркс способен их решить. И он скрупулёзно выискивал в сочинениях Маркса алгоритмы решения сексуальных проблем. Этот персонаж был, конечно, произведением той эпохи, в которую мы все жили, но всё-таки поражала столь нелепая, фанатичная погружённость и вера в то, что марксизм-ленинизм разрешит все вопросы… Нет, не становилось страшно за людей. Наоборот, было смешно, тем более что этот парень представлял собой исключительный случай. Другие, так сказать, ярые коммунисты относились к учению Маркса вполне здраво и допускали даже, что оно может быть в корне ошибочным.

В 1953 году произошло два события. На одном из них я ещё буду останавливаться далее, а сейчас отмечу, что тогда произошёл поворот, благодаря которому я стал писателем. Это было своеобразное глубокое озарение, которое стало результатом реализации особого видения мира и людей и способности видеть их самые закрытые, тёмные, глубинные стороны, которых они сами в себе не подозревали. В моих героях (в будущем, конечно) стали раскрываться черты невидимого человека, невидимого даже для

самого субъекта этих скрытых сторон. Но тем не менее этот невидимый человек мог определять жизнь того или иного героя, хотя тот мог этого и не подозревать. Обычная жизнь становилась для меня всё более и более фантастичной. Это было другое откровение по сравнению с тем, о котором я только что говорил.

Ну, и вторым событием, уже совершенно другого плана, была смерть Сталина. Надо сказать, что советская пропаганда делала всё возможное, чтобы в значительной мере вызывать негативное отношение к тем культам и образам, которые ей же когда-то воспевались — настолько она была неуклюже груба. Но всё же это не относилось к культу Сталина, потому что этот культ родился из нашей величайшей победы, которая определила совершенно другое направление мировой истории, чем могло бы быть. А для России это был знак предопределённости её великого будущего и её предназначенности, которая могла прийти уже тогда, когда коммунизм исчез... Ведь он не вечен (так думали мы, уже будучи на Южинском, в наших закрытых кружках 60-х годов). Во всяком случае, я понимал, что спасая от европейского фашизма Советский Союз (и коммунистическую систему, конечно), мы в то же время спасаем не только народ, но и будущую Россию, которая уже наверняка не будет коммунистической, которая сбросит с себя коммунизм, как ошибку, как утопию. В общем, защищая СССР, люди защищали Россию будущего, традиционную Россию. Они защищали прошлое России и её будущее. Поэтому имя Сталина как бы двоилось — с одной стороны, тиран и узурпатор, с другой — вождь великой победы. Я помню, кто-то говорил мне, основываясь на древних религиозных книгах, что когда великий народ попадает в труднейшее положение и может погибнуть, как, например, Россия после большевистской революции, то Бог посылает в эту страну диктатора, пусть даже самого жестокого, потому что только диктатура и жёсткие меры могут спасти такую страну от гибели.

И действительно, подобная ситуация была в 30-е годы. Если бы Сталин не создал всю эту военную промышленность за счёт продажи хлеба и ограбления крестьян, Россия бы погибла; она не смогла бы выдержать напора фанатичной гитлеровской армии, вооружённой по последнему слову техники… И вот это двойственное отношение к личности Сталина, конечно, дало о себе знать… Были люди, которые откровенно радовались смерти вождя, но таких было меньшинство. Основная масса, народ, переживала смерть Сталина как настоящее горе, как личную утрату, поскольку это был не только человек, но и символ. Искренние слёзы были у многих на глазах, в том числе и у обитателей нашей коммунальной квартиры. А проводы — это было уже что-то из ряда вон выходящее; все чувства смешались в этом порыве.

Что касается меня, то к 1953 году я был уже убеждённым антикоммунистом. Чашу терпения переполнили идиотские философские тетради Ленина, чьи аргументы сводились к выражениям типа «сволочь идеалистическая» или просто «сволочь». Такая уж была у него философия. К смерти Сталина я отнёсся довольно спокойно и воспользовался этим событием, чтобы прогулять институт. Целых две недели я безнаказанно наслаждался свободой.

В определённых слоях интеллигенции было ощущение, что какой-то исторический период закончился. Он действительно закончился, потому что вскоре был арестован Берия, людей стали выпускать из лагерей, и пошла совершенно иная жизнь, чем при Сталине. Я по-прежнему живо интересовался философией и литературой и писал к тому времени уже совершенно свои, «мамлеевские», рассказы, хотя рассказов было мало — мне трудно было войти в определённое состояние… Чтобы писать так, как я открыл, нужно было войти в некое состояние сознания; это было трудно, но зато, когда мне это удавалось, всё уже текло само собой. И только впоследствии всё из сложного превратилось в простое. Я стал

писать свои вещи, уже без труда входя в это состояние. Оно стало настолько мне свойственным, что я уже не отличал, когда оно возникало — в то время, когда я писал, или продолжалось в течение так называемой обыденной жизни.

Жизнь текла довольно хаотичная — путешествия в Петербург, в Подмосковье, встречи… Во всём этом было много неопределённости, поскольку я не мог дать себе ясного ответа на вопрос: имеет ли смысл адаптироваться хотя бы в какой-то мере к советской жизни или же нет. И тогда случилось большое горе — умерла моя мать. Это было в 1955 году. Я остался один. И почти одновременно с этим произошло событие, которое определило мою дальнейшую жизнь, вернее, оно послужило неким внешним толчком, который определил мою жизнь и повёл её в том направлении, в каком мне действительно было нужно — мне и моему внутреннему человеку (тому невидимому, который бессмертен). Это событие, казалось, было внешне незначительным. Оно было связано с моей болезнью — болезнью почек. Но поскольку врачи диагностировали хронический нефрит, это во многом сразу разрубило все проблемы, которые стояли передо мной, и они решились в том ключе, что я просто решил оборвать все мои связи с миром в социальном плане и быть одному.

Просто обозначился рубеж. Та жизнь кончилась, началась другая. Проблема заключалась в том, что эта болезнь, если здесь не было врачебной ошибки, могла значительно укоротить мою жизнь. Теперь все принимаемые решения так или иначе были привязаны к этому событию.



Неконформистская Москва

1958 год. Мне 26 лет. Я один. Позади — военное детство, смерть отца, лесотехнический институт, диплом инженера, смерть матери. Братьев и сестёр — нет. В настоящем — разлом, пропасть, неизвестность, вопрос. Два явления определили это состояние — товарищ Смерть и творчество. Товарищ Смерть, как я уже сказал, пришла в виде диагноза по поводу болезни почек (хронический нефрит). По этому диагнозу, жить оставалось максимум лет пятнадцать, если чудо — то двадцать. А мне всего двадцать шесть.

Другое явление случилось ранее — в 1953-м, в год смерти Сталина. Я вдруг почувствовал, что могу стать писателем. Под этими словами я имел в виду не умение писать, даже художественно, а умение воссоздать целый своеобразный мир, пронизанный глубинным философским мировоззрением, раскрыть тайник человеческой души и понять, насколько она бессмертна.

Проходя по любимому мной Тверскому бульвару, где стоял тогда памятник Пушкину, а сейчас стоит памятник Есенину, я внезапно ощутил, что в моей душе что-то открылось, и я увидел и мир, и человека не такими, какими они были раньше. Это и значит быть писателем. До этого события, как я уже упоминал, у меня были литературные опыты — два рассказа и несколько стихотворений. Это

было хорошо написано, вполне годилось для публикации, но это было абсолютно не то — это не несло никакого прорыва, духовного, мировоззренческого, художественного. Но прорыв произошёл, и я стал писать рассказы, но чтобы так писать, надо было, во-первых, впасть в определённое состояние сознания, которое позволяло видеть то, что соответствовало такому прорыву, озарению… Во-вторых, нужно было адекватно всё это выразить, должен был появиться соответствующий язык. Поэтому первые рассказы давались с большим трудом; они были неуклюжи, эти первые опыты. Но в конечной творческой реализации я не сомневался.

О публикации в Советском Союзе и речи быть не могло. Сейчас, в XXI веке, трудно себе представить, насколько нелепы и жестки были ограничения, наложенные на русскую литературу. Это уже была не цензура (при цензуре вполне могла появиться великая литература; пример — русская и европейская классика), а тупые идеологические и художественные требования, казарменные по существу. Это, к моему ужасу, фактически погубило советскую литературу как явление культуры. Да, таланты были, но тюремные оковы так называемого социалистического реализма душили всё великое, на чём зиждилась русская классика.

Действительно, о религии, поисках духовного смысла бессмертия не могло быть и речи в этой литературе, кроме изредка мелькавших жалких намёков. В то время как русская литература отличалась именно глубоко философскими, метафизическими исканиями, что и определило её высочайшее место в литературе мировой. Но всё подобное запрещалось в СССР, поэтому между русской и советской литературой лежала непроходимая пропасть, глубочайшее качественное различие, которое никаким талантом нельзя было уничтожить. Это было ужасно; фактически, русской литературе как мировому явлению, сравнимому, как писали на Западе, с третьим чудом света в сфере культуры и духа, был нанесён

смертельный удар. Ничего более трагического и жуткого в сфере культуры не было. Более того, поскольку в человеке есть не только божественное начало, идиотически отрицаемое марксистско-ленинской философией, но и противоположное, ибо, как известно, зло тоже заложено в человеке, глубокое познание человека вне его связи с мировым злом немыслимо. И это отражено в нашей немыслимой по своей глубине русской классике, особенно если вспомнить её сверхгениев — Толстого и, конечно, Достоевского.

Но и эта трагическая, реально действующая линия, стрелой своей направленная в бездну, была запрещена. Но ведь без познания зла невозможно его изживание. Получался в советской литературе некий искусственный новый человек, безжизненный, построенный на истерии создания некоей явной утопии, человек, отрезанный и от Бога, и от Дьявола. Говорят, что весь наш земной мир держится на заблуждениях, но заблуждение заблуждению рознь. Более нелепое заблуждение, чем материализм, трудно себе представить. Оно ударяло по духовно-историческому центру России, лишив человека всякой надежды на то, что реально существует, — бессмертие его души.

В духовном отношении ситуация в Советском Союзе была абсурдной, но таковой она была и во всём мире, пусть и в другой, более прикрытой форме. Что мне было делать конкретно? Идти по пути советской литературы, стать официальным писателем означало погубить свой только что открывшийся, весьма необычный талант, которому не было места в советском официозе. Такой выбор был бы нелеп и смешон — нельзя менять Божий дар на яичницу.

Надо сказать, что в самой советской жизни, в отличие от «зеркала» соцреализма, кроме абсурда присутствовал и Бог, и мировое зло, и боль — в общем, всё, как и полагается в человеческом сообществе.

Итак, смерть и творчество. Парадоксальное, таинственное сочетание, неизбежно ведущее к какому-то прорыву. Но проры-

ву куда, во что? Тем не менее, это сочетание привело меня к решению: никакой семьи, никакой социальной внешней «карьеры» и ненужной работы. Должны быть: свобода, стихия жизни, творчество и познание — кто мы, откуда пришли и куда уйдём после этой страшной жизни. Страшной и прекрасной, как биение бытия. Разрешить загадку смерти, а точнее, бессмертия во что бы то ни стало. Инструменты — интуиция, высший разум и книги… И будь что будет. Смешно перед лицом смерти, творчества и Бога копаться в суете повседневности.

Передо мной было поле жизни. Но надо было ещё осознать, что случилось со страной, где я родился. Для меня тогда это не был Советский Союз. Это была Россия, растоптанная и оккупированная кастой большевистских захватчиков. Это была страна, когда-то породившая величайшую литературу, музыку, вобравшая в себя христианскую веру, великая тысячелетняя держава и империя. Она не погибла, она была, как живая, она смотрела на меня страницами Пушкина, Достоевского, музыкой, сводящей с ума, песнями, природой, деревней, Есениным.

Звёзды смерти стояли над нами
И невинная корчилась Русь, —

писала тогда Ахматова. Да, именно невинная. Таково в то время было моё мироощущение в плане своей Родины. Переживалось это весьма болезненно.

К тому же оно частично поддерживалось тем обстоятельством, что в то время, в 50-е и 60-е годы, ещё много было людей, которые жили и получали образование в дореволюционной, подлинной России. Они были рядом, они были живыми свидетелями. Их глаза ещё светились той Россией. В основном это были образованные люди, с которыми я общался ещё в ранней юности, с сороковых годов.

Наконец, отсутствие свободы творчества, мысли, политический деспотизм дополняли эту картину. «Какую страну мы потеряли», — этот мотив звучал все эти годы. Это было правдой, исторической правдой, но это далеко не вся правда, не полная правда, особенно если коснуться ситуации во всём мире. Иллюзии относительно «свободного Запада» стали болезнью советской интеллигенции в 60-е годы, но об этом потом. Хотя уже в то время я чувствовал, пусть и смутно, что весь мир охвачен глубоким, чудовищным падением, имени которому ещё нет на земле. К тому же живые свидетели революции 1917 года и Первой мировой войны не раз говорили мне о том немыслимом предательстве, которое совершили наши западные союзники по отношению к России и которое во многом определило трагический ход нашей истории в то время. И это несмотря на то, что именно Россия своей кровью спасла Запад от полного разгрома в начале войны во время наступления немцев на западном фронте.

Мне надо было как-то дальше жить. Работать я устроился преподавателем математики в вечерних школах, давал частные уроки. Но эту деятельность я свёл к минимуму, в смысле времени. Время нужно было для другого, благо, в советскую эпоху не было опасений, что социально пропадёшь, останешься на улице, без квартиры и так далее.

Хорошо, но оставалась одна проблема. Писать можно, читать тоже, читальные залы Ленинской библиотеки были открыты для всех, кто имел высшее образование, философская классика была доступна, стихия жизни тоже, но оставался вопрос о среде. Кому читать то, что мной написано, с кем общаться на том уровне, который был мне необходим? И тогда сама собой возникла идея Ленинской библиотеки (ныне известная всем Государственная библиотека рядом с памятником Достоевскому), точнее, её курилки, где обычно собирались покурить посетители читальных залов. Оглядевшись,

я понял, что там нетрудно найти интересных собеседников. И потом, по ниточке, как в сказке, я вышел на человека, который был мне нужен. Звали его Лев Петрович Барашков. Был он старше меня лет на 10, но чем он занимался, было неведомо. Да я и не спрашивал, главное — он окружил себя несколькими любопытными, точно с неба упавшими персонажами. Никакого конфликта с советской властью у них не существовало и в помине, сами их интересы лежали в сфере, которую советская власть не считала уже существующей, с которой покончено в Советском Союзе раз и навсегда. Покончённые, покойники, так сказать, принадлежали к сферам религии, христианской в особенности, «идеалистической философии», к мистике, восточным воззрениям и тому подобному. Советская власть была настолько тогда уверена в самой себе, в своей победе над религиозным мракобесием, что вдруг открыла для чтения отдел запрещённых книг, книг именно по этим мракобесным темам. Дескать, может быть, для историков по уже мёртвому прошлому эти книги представят интерес, и кроме того, можно наглядно показать, как тысячелетиями заблуждалось человечество, веруя в Бога и бессмертие души. И только, кажется, в начале 60-х годов эту лавочку опять прикрыли, ужаснувшись тому интересу, который проявили советские люди, включая молодёжь, к этому мракобесию. Книги не только читались; их фотографировали и воровали, несмотря на все опасности, связанные с нарушением Уголовного кодекса. Хоть и мракобесие, но всё-таки социалистическая собственность. Эти книги потом расползались по Москве, перепечатывались на машинке, а книги там попадались действительно удивительные.

Другим источником самопознания были книги (в том числе и Библия), которые как-то проникали к нам с Запада сквозь железный, но уже ржавый, занавес.

Лев Петрович любил выпить, и этим первоначальное общение облегчалось. В Москве тогда было множество пивных, заку-

сочных, вообще уголков, где можно было посидеть за смехотворную цену. Лев Петрович, правда, сразу предупредил меня в одном из таких уголков, что его приятели — люди глубоко сумасшедшие, но в целом таковым Лев считал весь род людской.

Сам Лев был очкастый, глаза блестели внутренним умом, и он, в общем, напоминал бродячего интеллектуала. Нет, извините за это двусмысленное западное слово. Скорее он напоминал бродячего ниспровергателя истин мира сего, современного мира. Он обожал тайники человеческой души и этим жил, находя их и в самом себе, и в людях. А «истины» он опровергал, чтобы открыть тайничок... Он был крайне занимательным собеседником, но иногда страшноватым. Вдруг не то, что надо, откроет?

Он и познакомил меня с несколькими людьми, из коих особенно впечатлили меня Костя Пучков и Марк Доброхотов. Все эти люди, окружавшие меня в конце 50-х годов, не стали впоследствии известными или знаменитыми, как многие из нашего окружения в шестидесятые. Они не писали стихов, не рисовали картин, не занимались политикой. Но это было не так важно. Они поражали меня своей личностью, а это главное, и кроме того, они напоминали тех бродячих, немыслимых, глубинных людей, которых описывала русская литература; кстати, и Горький в рассказах «По Руси». Эти, современные, помогали мне углублять и образы моих героев. У них были живые души, безмерные, непредсказуемые и шальные... Попался среди любителей курилок (на этот раз — Исторической библиотеки) и один уголовник, Юлик, большой поклонник поэзии, особенно поэмы Лермонтова «Демон», которую знал почти всю наизусть. В душе он считал себя не уголовником, а главным героем этой поэмы. Я охлаждал его претензии, убеждая его в том, что человек не в состоянии сколько-нибудь адекватно изобразить падшего ангела — он неизбежно до неприличия очеловечивает его.

— «Демон» Лермонтова, — говорил я ему в какой-то пивной за кружкой пива, — несомненно, одно из ярчайших изображений в литературе. Но посудите сами, Юлий, как может человек описать существо, живущее, условно говоря, миллионы лет, в совершенно ином мире, по человеческим понятиям, — бессмертное, обладающее абсолютно иным разумом и волей, чем мы! Это невозможно.

Юлик угрюмо молчал, и только в его глазах вспыхивали зловещие искры. Оказалось, он недавно только «откинулся». Попутала его, видимо, чрезмерная любовь к презренному металлу — свойство отнюдь не романтическое. Но сам Юлик уголовником себя не считал, уголовниками у него были люди, власти, словом — весь мир. Себя же он принимал за страдальца и действительно страдал. В моём окружении он вызывал сочувствие. Даже Костя Пучков, странный эстет, потрясённый на всю жизнь смертью своей матери (она погибла на его глазах при землетрясении в Ташкенте), не брезговал общением с ним. Скорее наоборот. Ведь Костя вообще, на мой взгляд, оценивал человека по степени его страдания — чем выше уровень страдания, тем выше он ставил человека. Словно других оценок не существовало.

Юлик простонал в нашей компании полгода; занимал деньги, а потом исчез навсегда. Вероятней всего, пропив эти деньги, помер: его мучили редкие тяжелые заболевания, включая повышенное давление. Все это он, видимо, нажил в тюрьме. Костя не обиделся на него за исчезновение с деньгами.

— Исчез, так исчез, — сказал он. — Ему виднее.

Сам Костя впоследствии утонул. Это случилось значительно позже, в конце 60-х годов. Я коснулся его личности в романе «Московский гамбит». Поэтому остановлюсь на Марке Доброхотове.

Главным сокровищем Марка была библиотека, состоявшая из множества ценнейших книг по православному богословию, включая учения отцов церкви, и особенно некоторых совершенно ред-

ких книг и трактатов. Сам он был человек тихий, пьющий, чуть постарше меня, семьянин (сын и жена), разумеется, глубоко верующий. Привлекал же он к себе внимание именно своей библиотекой. Внимание, в том числе, было и со стороны власти. К счастью, время (конец 50-х годов) было уже другое, сажали только за конкретную антисоветскую деятельность, и то, если человек не исправлялся после соответствующих бесед. Но подобная библиотека раздражала власть — ведь это были не книги где-нибудь в официальной духовной академии, а в частной коллекции, стало быть, их можно было распространять, давая читать другим людям.

Именно это, после внушительных бесед, и запрещалось делать. Доброхотов Марк внимал этим беседам, но ослушивался. Это нервировало власть — получалось, что давно поверженный вдруг вновь подымался. Так или иначе, но гостеприимный дом Марка был всегда открыт для меня, и беседы там велись иные, мы старались понять то, что мир не вместил. Но и хохота было достаточно. Марк порой лихо запивал, правда, больше был склонен к пивному пьянству, а это было как раз то, что я любил в московских пивных. Я там лично сталкивался с интереснейшими персонажами.

Не забуду один теологический спор. Окружённый тремя молодыми людьми (это была простая рабочая молодёжь), я что-то им рассказывал о бессмертии души. Они кивали головой, но вдруг один из них возьми и скажи:

— Бессмертие души — оно, конечно хорошо, но скучно. Я думаю, что весело тогда, когда после смерти ничего нет. Так жить слаще, страшней и интересней. А то — опять где-то жить, провались всё пропадом. Надо жить, когда корабль тонет. Так круче…

Вот такие парни из рабочих были в России тогда.

Другой случай, и тоже с ребятами, произошёл летом, около пивного ларька. Двое молодых парней, напившись пива, отошли в сторонку, на травку, и начали яростный спор. Один из них чуть

не рвал на себе рубашку и, бия кулаком себе в грудь, кричал о том, что рабочий класс никто не понимает и никогда не поймёт, никто его не защитит и никто не уважает его душу. Другой же яростно опровергал, соглашаясь, что, действительно, никто не уважал и не уважает душу рабочего класса, кроме, однако, Владимира Ильича Ленина. Его друг отрицал и это:

— Ленин тоже не понимал и не уважал до конца. А главное — они все не вникли и не поняли эту душу изнутри.

Я был удивлён и умилён этой сценой. Странно, неужели тот молодой отрицатель не понимал, что речь он ведёт не о рабочем классе, а о простом русском человеке, которого, конечно, никакой Ленин и в том числе его противники никогда не знали и не понимали? На этом и споткнулись их последователи… А вот Горький многое понимал, потому что был писателем, хотя далеко не всё вмещал в этой необъятности.

Рабочие, «простые люди», не устраивали революции против советской власти, они просто пили. Это было их ответом на господствующую идеологию марксизма-ленинизма и на то, что из этой идеологии получилось.

…Все 58–59 годы прошли у меня во встречах с удивительными людьми, они были образованны, но крайне иррациональны, вроде того молодого отрицателя, и их знания были лишь платформой для манифестации их собственных идей и мироощущений. Пили они так же, как и так называемые «простые люди». Но это не мешало идеям и разливу души. Марк Доброхотов мужественно переносил внимание к своей библиотеке с теми, кого Бог пошлёт.

В это же время вынырнул и другой мой приятель на долгие годы — Илья Бокштейн. Был это трогательный человек лет 20–22, маленький по росту, уже больной… Он быстро воспринял то, чем были заняты умы нашего круга (от белой идеи до немецкой философии), но кроме того, он был поэтом, с каким-то внутренним

хаотическим даром, безумным, на первый взгляд. Если бы не хаотичность и сбивчивость его стихов, озарённых мощным, совершенно ирреальным видением, из него бы получился по-настоящему большой и необычный поэт… Но о его судьбе, такой же необычной, как и его стихи (опубликованные уже после его смерти, за границей и у нас), я расскажу потом, по ходу событий.

К концу 1959 года я уже чувствовал, что дело не ограничится узким кружком никому не ведомых тогда искателей корня жизни и смерти. До нас доходили настойчивые, но полупотаённые слухи о разных салонах и кругах художников, поэтов и тому подобных, где советская ментальность начисто отсутствовала. Но это не означало, что она у них всегда была антисоветской. Предстояло с этим встретиться.

Но для начала нельзя вновь не коснуться моих частых посещений могилы Есенина на Ваганьковском кладбище. Это было место, которое много лет, включая шестидесятые-семидесятые, неизменно посещали люди, народ, поклонники великого поэта. Это, как я понял, случалось каждый день, не было дня, чтобы сюда никто не приходил. Я приходил туда, под «тени ветвей», к этой тогда ещё скромной, почти сельской могиле — и сколько смятения, слёз, сердечной нежности, тоски и неожиданного подъёма духа я встречал… Словно сама земля там пела стихи Есенина. И, конечно, беседы, открытые, бесконечные… Трём словотворцам я обязан счастьем быть с ними всегда: Достоевский, Блок, Есенин. Но я рано осознал, в чём одна из причин, возможно, главная, воздействия стихов Есенина. Ключ лежал в магическом свойстве его поэзии. Далеко не все великие поэты обладают этим качеством. Оно — редкость. У Есенина это свойство выражалось не только в том, что его поэзия завораживала людей, но и в том, что за этим воздействием стояла сама русская земля, её леса и поля, и также сокровенные тайники русской души, скрытые тысячелетиями русской истории, видимой и невидимой.

Всё это, как из бездны, выходило на свет под воздействием магии есенинской поэзии. И иногда эта завороженность, принимая необъяснимые, чудовищные формы, входила в души людей и этими душами владела. Я думаю, на самом деле, сама Россия, вечная, древняя, выведенная на миг из советской околдованности, разбуженная стихами Есенина, входила в души всех нас. Здесь суть не в есенинской гениальности, данной ему от Бога, а в чём-то ещё большем. Пока жива Россия (а она, конечно, была жива духовно и в советское время), будет жить и поэзия Есенина, особенно стихи первой половины его жизни, когда Русь ещё не была осквернена революцией, а предстояла такой, какая она есть.

О Русь, Приснодева,
Поправшая смерть,
Из звёздного чрева
Ты пала на твердь.

Под покровом есенинской поэзии и особенно любимых книг русской классики я жил, точно хранимый этим покровом, несмотря на дикий разгул идеологического пустозвонного мракобесия, уже потерявшего свой первоначальный революционный, в чём-то даже мистический пыл. Медленно, но верно в душах людей побеждал Христос, как в поэме Блока «Двенадцать» — непонятой великой поэме. Великая страна продолжала жить в любые, самые жестокие времена, зная, что это пройдёт, и ей суждено великое будущее. И в Отечественную войну солдаты и офицеры защищали эту страну — кто с томиком Есенина в кармане, кто с именем вождя, а кто с православным крестиком на груди... И они защитили страну от вторжения в неё фашистской Германии с её беспредельным фанатизмом и яростью.

В начале 60-х годов мне открылась целая панорама необычных личностей, многие из которых стали потом знаменитыми. И я во-

шёл в этот круг, и обо мне как о писателе поползли разные, сногсшибательные для обывателей, слухи. Один из примеров: Юрий Мамлеев — реинкарнация Фёдора Достоевского. Другой ещё чище: Юрий Мамлеев — не человек. Но я, ведомый страстью к философии и литературе, рассматривал свои рассказы, стихи и первые записи моих философских ви́дений не только как творчество, но и как некие знаки, по которым можно узнавать, определять людей, близких мне по духу. И я находил и радовался. «Их» было много, как оказалось потом.

В самом начале 1960 года я попал в салон Елены Строевой и Юрия Титова. Их роскошная по тем временам квартира располагалась около площади Маяковского. Это был лучший антисоветский салон в Москве. Родители Лены были, видимо, обласканы этой властью, но дети, как всегда, восстали против отцов своих. Квартира эта, собственно, принадлежала Лене Строевой, а Юра был её муж, и была ещё дочка.

Эта чета изумляла. Лена, молодая женщина, лет около тридцати, блистательная, разумеется, образованная, привлекала к себе внимание не только своей весьма своеобразной красотой и умом, но и несколько болезненной яростью, с которой она относилась к советской власти. Это казалось необычным среди женщин, и израненные властью души тянулись к ней. Один Гарик Модель чего стоил — маленький человек, но верующий, причём католик (он умудрился принять католичество в социалистической Москве, несмотря на страх). Он был очарован Леной, но её порой сильные эмоциональные порывы пугали его и вводили в недоумение. И судьба его определилась не Леной, а верой: в семидесятые годы он эмигрировал из Советского Союза, был по его горячей просьбе принят папой Римским и стал католическим священником.

Сама Лена относилась к своим многочисленным поклонникам по-разному (в их числе и я занимал скромное место), но порой упрекала их в том, что они, скорее, любят не её, а собственное чув-

ство к ней, неся его как некое сокровище. Отблеск Серебряного века лежал на всём этом, но дикость советской жизни по сравнению с прежней, имперской, всегда вносила свои незабываемые нотки.

Юрий Титов, её муж, чуть постарше её, обладал несомненным живописным талантом, но его картины поражали больше драматическим напряжением религиозных сюжетов. Везде его храмы, лики окружал огонь, и было непонятно, что это — небесный огонь или огонь из преисподней, атакующий храмы и лики.

Всё это было мне знакомо: и религиозный экстаз Юрия, и декадентство Лены. Но, войдя в эту жизнь, я уже наконец-то увидел, что Москва наполнена разными кружками, «подпольными» поэтическими журналами и тому подобными явлениями — одним словом, рождался целый неконформистский мир, мир неофициального искусства и «нелегального» мировоззрения. Как ни странно, был здесь представлен и рабочий класс. Мой старый приятель ещё по 50-м годам, а впоследствии и по Южинскому переулку, Анатолий Корнилов, из глубинной рабочей семьи, но уже пописывающий вполне декадентские стихи, сказал мне один раз, когда мы возвращались с вечеринки у Строевой:

— Юра (он говорил, поражённый обилием философской, даже мистической терминологии, разливающейся на этой, не без алкоголя, вечеринке), — ты знаешь, я понимаю значение и суть этих слов из контекста всего разговора, но мы, выходцы из народа, относимся к ним иначе, чем вы. Для вас это привычные понятия, и вы сыпете ими как снегом. Для нас же всё это ново, и мы переживаем всё это до глубины. Иногда мне эти понятия снятся...

И, несмотря на своё происхождение от рабочего класса, он нередко повторял нам, касаясь разгрома дореволюционной России:

— Какую страну мы потеряли, друзья! Какую страну!!! Ведь действительно, «из звёздного чрева ты пала на твердь». Я согласен с Есениным!

В гостиной Леночки Строевой гостил и Солженицын. А на стене демонстративно висел портрет Джона Кеннеди, тогда ещё президента Соединённых Штатов.

Увы, человечество несчастно и в чём-то обречено: восстание против одного заблуждения порождает другое, может быть, не менее страшное. И такая цепочка может длиться без конца, словно история человечества — это история и борьба заблуждений. Но, конечно, есть исключения, и они значительны, иначе жизнь рода человеческого ничем не отличалась бы от кошмарного сна.

...Другая компания того времени, когда царила Леночка Строева, с которой я познакомился через Корнилова, была другого направления. Возглавлял её известный в 70-х годах Геннадий Михайлович Шиманов. О нём даже писали в американской прессе как о весьма неприятном субъекте. «Неприятность» его состояла в том, что он активно проповедовал в СССР христианство, православие и писал об этом в самиздате, за что умеренно и пострадал от советской власти. Но заокеанским властям он был, видимо, ещё более неприятен, чем советским, хотя уж такого особого значения ему не придавали. Старались в основном некоторые новые эмигранты из СССР.

Но тогда, в шестидесятых, когда я познакомился с ним, Шиманов, молодой комсомолец, был отпетым атеистом. Несмотря на это, он привлёк моё внимание искренностью и горячностью своих духовных поисков. Но тогда получался некий абсурд вроде «атеистической религии». Я довольно настойчиво стал убеждать его в правоте христианской веры, тем более пред лицом мрачного атеистического миража. Не буду приводить здесь аргументов, это понятно всякому нормальному человеку, но Шиманов долго сопротивлялся, романтически принимая позу пусть и обречённого на ничто тотального материалиста, но гордо не сдающего позиции личной смерти и гибели.

Годика через два-три он, однако, сдался, разум взял верх, он крестился и стал достаточно глубоко изучать богословие, за что и был умеренно наказан. Но потом вышел и продолжил свою деятельность, ненавидимый и американскими толстосумами, и советскими атеистами.

Я, конечно, познакомил его с Марком Доброхотовым, и он преуспел в чтении великих книг Марковой библиотеки. И был потрясён, когда уже, кажется, в 1963 году я принёс ему весть об убийстве Марка где-то на тёмной улице, в Москве. Убийство это, я думаю, носило не политический характер, а бандитский или какой-то запутанно-бытовой. Дело это сугубо тёмное. Куда делась его бесценная библиотека, одному Богу известно.

Между тем в начале 60-х годов возник феномен, до того времени совершенно немыслимый. Я имею в виду периодические выступления, чтения вольных стихов у памятника Маяковскому в центре Москвы. Собиралась, главным образом, возбуждённая молодёжь. Срывались и на откровенную антисоветчину. Параллельно стали ходить по Москве самиздатовские малюсенькие, милые журнальчики со стихами. Но не всё там было мило для наших властей, хоть и потеплевших уже.

Я порой посещал эти поэтические митинги. И вскоре я узнал, что на одном из этих мероприятий как раз и был арестован Илья Бокштейн. Говорят, что он произносил настолько яростные антисоветские речи и призывы, что терпение властей не выдержало. Он произносил эти речи в силу своей полной или неполной отключённости от всех реальных угроз, существующих на земле. Его, маленького, посадили на несколько лет. Он не отказывался от своих убеждений, но к концу 60-х его выпустили. Мы встретились. Он мужественно всё перенёс, изменился, но немного — больше в сторону лагерной политической лирики. Наконец, эмигрировал в Израиль. Там писал, в том числе создал тоскующий стих о прощании

с Россией. Там же принял православие. Там же умер. Наши ребята во всём были парадоксальны и плевали на то, что о них думают.

Другой человек, «узник совести», мало знакомый мне лично, но известный в то время — Юрий Галансков. Этот молодой человек из совершенно простой, именно рабочей семьи тоже писал стихи, но другого рода — его «Человеческий манифест», написанный против коммунистического строя, хотя и не в прямом смысле, ходил по рукам в Москве и тревожил лидеров московского комсомола своим вызывающим и искренним тоном. Это, однако, ему простили, но не простили весьма серьёзную деятельность по созданию в Москве (причём среди рабочих!) антисоветской подпольной организации. Этот человек был чист, смел, сознавал, что ему грозит, и всем жертвовал ради своих убеждений. В итоге его «закрыли», и он умер в лагере. Он как-то зашёл и к нам на Южинский, но надрыв и мистика, увлечённость Блоком и вообще атмосфера наиболее таинственных стихов Серебряного века были ему чужды, в отличие от его брата по рабочему классу — Анатолия Корнилова. Пить вино и мечтать о Боге — было не его занятие. Его замечательная сестра, пережившая его немного и дожившая, кажется, до конца XX века, сохранила и донесла до всех знавших её наиболее адекватный образ её брата, предельно искреннего, до слёз открытого русского парня, не жалевшего себя «за други своя»...

***

Между тем по Москве уже пополз слух о том, что появился «подпольный», «неконформистский» писатель мистического направления. Начало этим слухам положили чтения в 1961-62 годах моих рассказов в Южинском переулке, в моей квартире. Сам я там уже не жил, а использовал эту квартиру для чтений и сборищ. Она, как я уже упоминал, включала в себя две смежные комнаты в коммунальной, чисто советской квартире на втором этаже дома доре-

волюционной постройки начала XX века. Всего, кроме меня, здесь обитали ещё пять семейств.

Квартира №3 была та, в которой я жил с самого своего появления на этом свете в 1931 году. И жильцы в основном были те же, что и тогда. Это прибавляло их доброжелательства ко мне, тем более что и по природе своей это были люди хорошие. Удивительно, что вообще в своей повседневной жизни, в быту, советские люди сохранили порядочность, моральные устои общечеловеческого характера, я бы даже сказал, с христианским оттенком, доставшимся из предыдущих столетий... Короче говоря, я в своей жизни там, в Советском Союзе, а точнее, в России, не встречал так называемых «плохих людей», разве что за редким исключением. Конечно, была и уголовщина, но она пряталась по углам. Не было тупого, беспощадного эгоизма, всегда можно было рассчитывать на помощь. И в конце концов жильцы квартиры №3 дома №3 по Южинскому переулку прощали мне вечерние, иногда почти ночные, регулярные посещения моих друзей и слушателей. Иногда милиционер, живший напротив, бунтовал и вёл со мной воспитательную работу, но он был изумительно добрый человек, к тому же пьющий.

Чтения не обязательно происходили при свечах и не обязательно с обильными водочными возлияниями после. Но свечи, стихи, гитара, соответствующие песни, абсолютно необычные для советского времени, и совершенно ирреальные беседы о прочитанном, которые уводили всё дальше и дальше, в то, что трудно было вместить иным образом, — всё это было... Любимые напитки — конечно, но всё-таки в умеренных дозах, в таких, которые не нарушали общую ауру, созданную чтениями, а наоборот, только усиливали иррациональность и полную открытость бесед. Во всём этом было нечто, что почти не передаваемо никаким текстом — я имею в виду эмоциональную, душевную, внутреннюю настроенность. Литература, философия, стихи, душевные раны, жизнь и смерть, прошлое,

будущее — всё сливалось в единый поток. Обнажённость была до последних тайников души. Были и слёзы, на грани истерики. Помню реакцию после чтения моего рассказа «Тетрадь индивидуалиста»… Сложилось впечатление, что в сознании слушателей что-то произошло, словно они открыли в себе какой-то новый уровень бытия, самосознания. Какой-то взрыв произошёл внутри… И это выразилось далее слезами, почему слезами — непонятно. Помню, Лена Строева пробормотала с полной отдачей и с надрывом:

— Ну и обнажился ты… До предела просто… Не надо такой обнажённости, нельзя так душу свою терзать…

Другие, наоборот, сочли, что надо терзать свою душу так, что мало не покажется, терзать до самых глубинных, кровавых ран.

— Обнажённости, побольше обнажённости! — крикнул тогда кто-то в углу. — И кроме того, все эти истинные открытия, откровения, надо одевать в оболочку бреда… Бреда побольше… Так эти глубины легче будет воспринимать, в чистом, обнажённом виде они могут быть страшны и невыносимы… Жизнь — страшная вещь!

Примерно так говорил кто-то после этого первого чтения «Тетради индивидуалиста» на Южинском.

Милиция к нам приходила всего два раза в течение 60-х годов. Приходила, но ничего криминального не нашла.

— Накурено у вас чрезмерно, — заметил только один молчаливый милиционер.

И всё. Дело в том, что слухи слухами, но в моих рассказах не было ничего антисоветского, никакой политики. Это спасало, тем более советская власть к тому времени значительно потеплела.

***

Кто же посещал тогда, в первые годы подпольных чтений, Южинский? Время было для нас таким захватывающим, я имею в виду наши встречи, чтения, поиски, что мы даже не заметили,

что в 1962 году удалось каким-то чудом предотвратить Третью мировую войну. В это время был самый разгар наших бдений.

Итак, в тот период существования Южинского частыми посетителями были: Владимир Ковенацкий (художник и поэт), Евгений Головин (поэт, переводчик Рембо и русский алхимик), Алексей Смирнов (художник и эссеист), Владимир Степанов («главный суфий республики»), Александр Харитонов (художник), Михаил Каплан (поэт) и менее известные для мира сего упомянутые Лев Барашков, Анатолий Корнилов, а также Алик Скуратовский с женой Галей и другие. Все они приходили или одни, или со своими подругами…

Захаживал к нам также и Анатолий Зверев (тот самый художник-авангардист, о котором, насколько я знаю, положительно отзывался сам Пикассо). Но, несомненно, центральное или одно из центральных мест в Южинском кружке занимала Лариса Пятницкая. Она была и вдохновительницей, и аккумулятором всех тех идей, включая эзотерические, которые, как шаровая молния, проходили по Южинскому. Впоследствии, уже в 90-е годы и позднее, она написала изумительные произведения об адептах и посетителях Южинского, и прежде всего о Евгении Головине, мэтре, знатоке альтернативной европейской культуры, древних и тайных наук, включая алхимию, авторе сюрреальных песен, глубочайших стихов и эссе.

Надо сказать, что в то время у меня сложилась основа моего метафизического и философского видения, уже были первые философские тексты. О литературе, рассказах я уже не говорю. Поэтому я оказывал самое мощное влияние на ту молодёжь, которая меня окружала, включая, конечно, тот небольшой круг, в центре интересов которого стояла мировая метафизика (Евгений Головин и Владимир Степанов, частично Алексей Смирнов). Только несколько позднее Алексей Смирнов отпал, отошёл от нас, но зато присоединились такие личности, как небезызвестный сейчас Гейдар Джемаль и «тайный» человек Валентин Провоторов. Но о них в своё время.

Главным импульсом, двигателем моих исканий было стремление понять и войти в то, что мир не вместил. Всё то, что проходило в этих моих исканиях, отражено как в моих философских текстах, так и во многих рассказах и романах. Но мемуары — не философский трактат, а хроника жизни и событий, поэтому – вперёд по тропам безумного нашего времени…

Владимир Ковенацкий был полностью наш, он никогда не интересовался политикой. Но в его глазах почти постоянно стояли слёзы. Очень часто. Это были незримые, внутренние слёзы, иными словами, он был слишком чувствительным, чтобы жить в XX веке. Тем не менее, художник и поэт крайне удачно соединились в нём; и его стихи, и его картины говорят об одном: мы все на земле живём в сюрреальном, полубредовом мире, в котором пребывать интересно, загадочно, но весьма опасно. И не дай Бог лучший мир, в который мы все уйдём рано или поздно, будет похож на этот.

Мои рассказы ужасали его, но притягивали к себе, хотел он того или нет. Ковенацкий был постоянным посетителем Южинского, и стены «мистической» квартирки были увешаны его картинами. Тематика их отражала дух Южинского своей надзвёздностью и некоторым своеобразным влиянием Блока.

Культ Александра Блока, действительно величайшего поэта, пронизывал ауру Южинского. Он был для нас и пророк, и творец «странного мира», и искатель надмирной женственности. Но Ковенацкий изображал эту тенденцию самым отчаянно-своеобразным образом. Меж звёзд у него летали гробы с загадочными полуголыми женщинами, а внизу, на земле, царил хаос. Милиционера нашего Володю, участкового, особенно возмущали летающие гробы с красавицами слегка не от мира сего. Отсюда родилось выражение «сексуальная мистика», ибо художественная «газета», которую Ковенацкий рисовал и писал, позиционировалась им как печатный орган «сексуальных мистиков». Но у него были и более

пугающие откровения, хотя и всегда с сюрреальным юморком. Таким он видел и окружающий мир и дошёл до того, что, как он писал в одном своём стихотворении:

Видно, я сошёл с ума —
Не могу смотреть без смеха
На людей и на дома.

Сам он, однако, в то время был как-то по-бытовому мирно женат, но вскоре развёлся. Понятно, что не он один видел явное и страшное несовершенство мира сего. Но зачем же сходить с ума и хохотать над самой банальной, обыденной жизнью?

У Володи был один рисунок, далеко не самый лучший, но в нём проглядывает весь символизм его жизни. Рисунок простой: на переднем плане лихо сидит художник, перед ним полотно, и он что-то рисует. Что же он рисует? Он рисует взрыв атомной бомбы, гриб, разрастающийся где-то не так уж и далеко. Это и есть Ковенацкий, его ситуация. Художник и взрыв мира сего. Таково было его мироощущение.

Но так нельзя. Нельзя смотреть в глаза своего убийцы и наслаждаться, мучаясь его взглядом. Невозможно жить в постоянном надрыве. За надрывом должен следовать прорыв, вознесение, спасение. Надрыв — и рывок вверх. Разумеется, у Ковенацкого были прорывы, само его творчество доказывает это, но, по моему ощущению, надрыв в нём преобладал. Это не могло закончиться тихо-спокойно.

Когда мы с женой были уже на Западе, до нас донеслась весть о его безвременной кончине, связанной, видимо, с какой-то нервной и психологической перегрузкой. Но в 60-е годы он, милый Володя Ковенацкий, оказался в некоем центре: он присутствовал и на Южинских вечерах поэтов и художников, но в то же время он оказался связующим звеном между ними и совсем небольшой тогда

группой подлинных метафизиков, адептов великих древних учений. Я встретился с теми людьми, которые интересовали меня гораздо больше просто поэтов и художников. Ведь страсть к метафизике, к какой-то конечной, абсолютной истине или к её запредельной невместимости была у меня не менее сильной, чем страсть к писательству, к литературе. В конце концов эти два процесса часто сливались.

И вот я, со своим необычным для того времени миросозерцанием, познакомился с этими людьми. Тогда это были трое: Евгений Головин, ещё совсем молодой, но уже переводчик Рембо и каких-то средневековых трактатов, Владимир Степанов, «первый суфий Республики», как называл его Головин, и Алексей Смирнов, человек в то время довольно жуткий, но прекрасный друг Головина.

Владимир Степанов — лицо довольно закрытое; после перестройки он организовал суфийские (и не только) группы в России и Европе, выступая в качестве Мастера Джи[1]. Он умер в 2011 году.

Алексей Смирнов тоже, в отличие о Головина, вёл довольно скрытую жизнь, но стал известен в посткоммунистической России благодаря неожиданной публикации прекрасных эссе. Он умер в начале XXI века.

Впоследствии, в течение 60-х годов, когда Алексей Смирнов ушёл в совсем непонятную для нас жизнь, к нам присоединились два совершенно исключительных человека, которым трудно подыскать какие-то аналоги… Но об этом позднее.

Итак, в начале 60-х годов уже образовался круг метафизиков. Я помню первое появление нашего Евгения Всеволодовича Головина на Южинском. Шёл 1963 год, год безумного расцвета Южинского. Направил его Ковенацкий. Была ночь, и в самый раз-

---

[1] См. книги «Цитаты Мастера Джи» под ред. А.В. Степанова (М.: Издательская группа «Традиция», 2015) и К. Серебров «Один шаг в Зазеркалье / Мистический андеграунд» (М.: Издательская группа «Традиция», 2014).

гар немного пьяных бесед о Ницше и чтения стихов, почти крадучись, вошёл он. Без стука и звонка в парадную дверь всей квартиры; эта дверь была кем-то из наших открыта, видимо для того, чтобы привлечь ночь. Мы сидели в маленькой запроходной комнате, а из проходной раздался его голос:

— Стихи хорошие, но средние. Стихи должны сводить с ума богов, тогда это поэзия. Примеры есть…

Стихи были, действительно, хорошие, но «средние» и известные. Чьи — не помню. Но я вздрогнул при звуке его голоса. В нём была та неведомая миру отключённость, которая делает истинных поэтов. Как у Блока:

Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала.

И когда Головин вошёл в нашу запроходную комнату, было сразу видно, что ради истинной поэзии он отвергнет всё, что ничтожно в его глазах. И прежде всего любой социум.

***

Чтобы реально описать Головина, надо знать все стихии, которые владели им. Античные боги, поэзия — не как стихосложение только, а как жизнь, маргинальная европейская культура, русская и европейская поэзия, алхимия, алкоголь, полное равнодушие к социуму, иногда сюрреальные поступки. После его посещения Южинского мы встретились одни в его комнатке в коммуналке, где-то около Елоховского собора. И сразу всё стало ясно. Пересказав друг другу самое существенное о себе, мы осознали, что будем связаны духовной судьбой на всю

жизнь. Я был старше его лет на восемь, мои рассказы действовали на него ураганно и метафизически. Он был истинный поэт, потому так впечатлителен на всё, что выходило за пределы «обычного». «Милые, обычного не надо», — вспоминали мы потом, несколько лет спустя, стих Валентина Провоторова, о котором речь в своём месте.

Головин не был философом, но метафизические реалии он познавал окольно-тайным путём, через поэзию, тайные науки и тому подобное. Тогда, в этой его комнатушке, я прочёл ему мои стихи, написанные от имени героя моего рассказа «Человек с лошадиным бегом». Вздыхая, он пробормотал:

— Боже мой, какой бред!

Это была высшая похвала в его устах. Бред для него означал перепонимание реальности. Я был согласен.

Начну с его интереса к античным богам. Разумеется, он признавал Христа как Богочеловека и как-то заметил, что надо быть полным идиотом, чтобы отрицать божественность Христа. Но его какой-то стороной сердца тянуло именно к богам, к этой духовно мощной, но опасной категории существ. Он их знал, понимал и частично выразил это в своих шедеврах. Несомненно, самым близким из богов ему был Дионис. Именно в нём он видел, может быть, и свою судьбу: метаться между высшими прозрениями и падением в бездну, падением, которое потом служило отправной силой, чтобы снова уйти вверх. Да и как не обожать дионисийское начало, когда им пронизано всё лучшее, что есть на земле в наше время (считал он).

Но с богами не шутят. Греки это хорошо знали и считали, что познать их до конца невозможно. Его любимый Достоевский согласился бы с этим, добавив, что и человека познать невозможно. Мне же Головин за вином говаривал:

— Юра, ты доказал, что человек может быть страшен, страшен не просто так, а по безднам своей души.

Равнодушие и презрение Жени к социуму, к какому-либо социальному успеху принимало порой апокалиптический характер. Как он существовал, вообще было непонятно. Такое, пожалуй, возможно только при социализме. На Западе он бы просто пропал.

Да, насколько я знаю, он получал что-то за свои переводы европейской поэзии. Блестяще перевёл «Пьяный корабль» Рембо. Европейские языки он знал великолепно и мог бы войти в плеяду блестящих переводчиков западной литературы. За такие переводы классических текстов при советской власти платили, мягко говоря, очень хорошо. Но он презрел эту возможность. Его интересовала только та европейская литература, от которой советские редакторы пришли бы в ужас или в столбняк.

К моменту нашей первой встречи Головин был женат на милой молоденькой девушке, которая родила ему дочь. Но, видимо, ещё до её рождения он разошёлся со своей женой. Вскоре после первых встреч я уже застал его живущим с Белым Тигром. То была весьма образованная женщина, полонистка, переводчица, чуть постарше Жени, да ещё с сыном, школьником. Но они достойно, слегка сюрреально, сошлись: он — поэт, эссеист, она — переводчица, знаток европейской литературы. Белый Тигр высоко ценила поэтический дар Жени.

Уже при Белом Тигре Женя пропил свой советский паспорт. И всё это время, с начала шестидесятых, кажется, жил в стране тотального контроля без паспорта, и довольно удачно жил, без препятствий. Паспорт он не то чтобы пропил, а просто оставил его в залог в ресторане, где компании выпивающих метафизиков не хватило денег на безграничную выпивку. За своим паспортом он не возвращался, да и ему из ресторана никто не навязывал советский паспорт... Он жил с социальной точки зрения удивительно легко, словно не жил, а пролетал по дорогам социума. Если бы в том ресторане могли слушать стихи Рембо или Малларме на

французском или Блока на русском, он непременно пришёл бы туда за своим трудовым советским паспортом. С тех пор гонорары за переводы он получал косвенно.

Но главной магической силой Головина было общение. Это было что-то выпадающее из мира сего, как будто этот мир превратился в яичницу, а общение между людьми стало божьим даром. Передать трудно, что это было за общение. Оно напоминало общение в древнем мире, когда не было презренной печатной машинки, и все знания, восторги и глубины передавались устно. Фактически, эта практика преобладала и на Южинском, и таким общением — душа к душе, лицом к лицу — Женя владел в совершенстве. Все гиперболические знания, которыми он владел, кончая тайнами герметизма и древних наук, обрушивались на собеседника в причудливой форме и таким образом, что всё это воскресшее касалось самого центра личности собеседника, задевало его, выводило из себя или просто зачаровывало. Были даже дикие случаи…

Сидел Женя как-то с одним из своих приятелей у него за бутылкой водки и рассказывал ему о тонкостях французской мистической поэзии первой половины XIX века. Кстати, время это — после революционного погрома французской аристократии и дворянства — было самое подходящее для мистических излияний в поэзии. Приятель этот слушал Головина как зачарованный, словно душа его перенеслась в то далёкое время. А тут возьми и появись сам папаша приятеля. При виде Головина, бутылки водки и французской речи, смешанной с изысканной русской, он пришёл в ярость и хотел было накинуться на Женю, как некий бык, раздражённый красной тряпкой. Сынок его, однако, поднял крик:

— Папа, ты пойми, наконец, что это Головин! Головин это!

Папаша не понял. Тогда сынок схватил разъярённого папу за шиворот и выгнал из квартиры. Но на следующий день из-за такой

бесшабашности сыночка получился шумный семейный скандал… Мамочка решила, что Головин — это чёрт…

А нам, читатель, сейчас самое время остановиться на феномене водки в среде нашего круга, Южинского по названию. Конечно, в те времена, в 60-е годы, вся страна пила, точнее, выпивала; при этом страна работала. То ли водка была не поддельная, качественная, то ли здоровье у народа было значительно лучше, чем сейчас, в XXI веке… Но мы остановимся на теме: алкоголь на Южинском или вообще в среде подпольной творческой интеллигенции в Москве 60-х годов.

***

Итак, алкоголь. Ключом к пониманию его роли в нашей среде в то время было знаменитое стихотворение Блока «Незнакомка», особенно его финал:

В моей душе лежит сокровище
И ключ поручен только мне.
Ты право, пьяное чудовище.
Я знаю, истина в вине.

И добавлю ещё всего лишь одну строчку:

И влагой терпкой и таинственной…

Именно «…и таинственной» имело такое уникальное воздействие. Алкоголь связывал тогда всех нас. Головин говорил, что сразу после первой рюмки вина (пусть «вино» будет обобщающим словом) что-то расцветает в его сознании, пылает нетленный огонь, и в памяти восходят все самые потаённые, значительные мысли, напевы, стихи, озарения. Именно озарения. И этот вдруг создавшийся цветок

можно было дарить каждому, способному внимать. А главное — ещё рождался подтекст, намёк на нечто почти невыразимое.

Естественно, такое воздействие вина придавало общению новый, благодатный уровень. Но, разумеется, такого рода общение никогда не переходило в бессмысленное пьянство. А ведь «общение» было ещё одним ключевым словом для того времени. Слово, лишённое публичности и публикации из-за запретов, приобретало то значение, которое оно имело в великие древние времена, когда устное общение преобладало и считалось, что именно при устном общении может передаваться друг другу самое важное, духовно значительное. И, конечно, такое раскрытие душ происходило у нас и без участия винного нагрева, но вино тогда не было для нас убийцей, а как раз наоборот.

Помню, уже в эмиграции, в Америке, один из эмигрантов (забыл его фамилию) написал где-то в газете громкие слова: «Всем хорошим в себе я обязан водке». Как бы дико это ни звучало, но в этом душераздирающем заявлении была своя правда. Самое интересное, что впоследствии, во время эмигрантской жизни в 1970–80-х годах, во время возвращения и жизни в России в 90-х годах и в XXI веке, алкоголь не имел и тени того таинственного воздействия, которым он обладал для нас в 60-е годы. Вино как вино, ну, повышало тонус, развязывало язык — как у всех, как полагалось, приятно, но ничего особенного. А общение, тем более духовное, обходилось без разогрева. Более того, алкоголь в наше время, сейчас, в XXI веке, на мой взгляд, приобрёл какой-то чёрный, негативный оттенок. Чем объяснить эту разницу? Нашей молодостью в те, шестидесятые, годы? Не думаю — на «молодых» сейчас, в том числе и личностей нашего плана, вино оказывает довольно банальное воздействие. Качеством доступного алкоголя тогда и сейчас? Допустим, качество сейчас хуже, но доступно и хорошее вино. Но результат тот же: в лучшем случае — банальное воздействие. Бы-

вают исключения, но редко. А негативного всё больше и больше. Я думаю, разгадка — в душевном, психологическом состоянии людей в России в 60-е и 70-е годы прошлого века и теперь, в XXI веке. Так называемая «перестройка» изменила ситуацию, и в плане алкоголя — в худшую сторону. Депрессивное состояние или просто попытка уйти от забот и тревог жизни только способствуют негативному воздействию алкоголя, бездонному упадку.

Ничего подобного не было тогда у нас, да и народ пил водку как-то веселее. У нас же «таинственная влага» сразу выводила в иное измерение, точнее, свой собственный внутренний мир выходил на поверхность сознания, и ничего не существовало, кроме него. Исчезала иллюзия времени, прошлое и настоящее сливались в единый поток…

…В те времена Головин дружил с Алексеем Смирновым. Тогда он выступал больше как художник-сюрреалист. Сюрреализм в жизни и в искусстве обозначал его суть. Картины, которые он нам показывал, были чудовищны по смыслу, даже передавать этот смысл словами до невозможности тяжело… Так что увольте.

В добро как метафизический принцип Алексей не верил и считал, что люди просто надевают в своём воображении белый намордник на мироздание. Всё на самом деле очень-очень жёстко. Мир для него превращался в сюрреалистическую картину — гораздо более безумную, чем живопись Сальвадора Дали. Отец его был советским художником, и Алексей тоже имел высшее художественное образование. Но с отцом он не ладил, и тот его, по-моему, побаивался. Слишком широк был Алёшин размах.

Тогда Смирнов ещё не писал свои размышления, эссе, но литературу любил, и мои рассказы вызывали у него дикий хохот. Он считал их достойным выражением сюрреальности мира сего. Он и в жизни тогда был склонен к буйству, и только Головин своим спокойствием и отрешенностью как-то утихомиривал его.

Полной жизненной противоположностью ему оказался Владимир Степанов. С ним я познакомился у Ковенацкого (как, впрочем, и со Смирновым). Степанов был молчалив и сосредоточен. История его духовной судьбы весьма необычна. В послесталинское время из лагерей вышли, в том числе, несколько человек, связанных ещё в дореволюционное время с редкими группами богоискателей начала XX века. Один из них, которого называли Oldman, даже организовал у себя на квартире нечто вроде учебных курсов.

Короче говоря, именно эти люди, вышедшие из лагерей, познакомили Степанова с миром различных духовных учений. Они сохранили даже некоторые весьма ценные и интересные рукописи. Сам Степанов в то время был увлечён учением Гурджиева и Успенского.

Таким образом и создалась у меня на Южинском группа людей философско-метафизической направленности (Головин, Степанов, Смирнов). К этой группе присоединились потом Валентин Провоторов и Гейдар Джемаль, а позднее и Александр Дугин. Лишь Смирнов по своей воле к какой-то неведомой жизни ушёл от нас приблизительно в конце 60-х годов и выпал из нашего поля зрения вплоть до своей смерти в 2009 году. Последний раз я его видел где-то в 1974-м, перед отъездом на Запад. Несмотря на «неведомую жизнь», я застал его женатым, с детишками, на даче, мироустроенным. Но это ничего не значило — что творилось в его душе, известно только Богу и частично тем, кто читал его опубликованные позднее размышления. Моё желание уехать он одобрил, но заметил, что Россию, ту, тысячелетнюю, которую мы потеряли в 1917 году, можно хранить в душе и жить ею как здесь, так и там. Мы, наш народ, отстояли эту великую и таинственную Россию, которая продолжала жить и под покровом советской власти, в войне против фашистского чудовища, в этой судьбоносной для всего мира войне. Советская власть пройдёт, но Россия останется, восстанет и осуществит рано или поздно своё высшее предназначение.

Сам Алексей вёл какую-то до странности самостоятельную жизнь, не хотел общаться ни с кем из прежних друзей, людей нашего круга. Он, видимо, исчерпал этот круг для себя, для своей души. Больше я его никогда уже не видел.

...Кроме Южинского, я посещал, читая свои тексты, ещё ряд кружков, «салонов», как их тогда называли, где собирались «неконформисты». Это были или весьма приличные московские квартиры, или затаённые углы. Одним из таких «приличных» салонов была квартира Льва Кропивницкого, известного художника-авангардиста, ярого поклонника моих рассказов. Но тогда с алкоголем там было тихо, и один раз я даже не выдержал, тем более рассказ, который я собирался читать, был достаточно «безумен» («Голос из ничто»). Перед тем как читать, я отлучился, как бы в туалет, а там вынул из кармана припасённую четвертинку и был готов. В таком отключённом состоянии и звучал «Голос из ничто». Все были довольны, а метафизический текст заглушал влияние алкоголя.

Другим «салоном» был барак в Лианозове, где собиралась так называемая «лианозовская группа» (Оскар Рабин, его супруга Валя Кропивницкая — художники, Генрих Сапгир и Игорь Холин — поэты). Центром там был, конечно, Оскар Рабин. Он рисовал «быт», но коммунистическая идеология такой «быт» не могла выдержать, стала загибаться. Ну что там говорить, например, поэт Игорь Холин так закончил одно своё стихотворение, опубликованное в самиздате, напрямую пересекающееся с сюжетами Оскара:

Он лёг отдохнуть у кирпичной стены,
А утром с него были сняты штаны.

Другой режим, даже тоталитарный, расхохотался бы на такие стишки, погладил бы себя по животику и непременно бы

опубликовал. А тут послышались возмущённые отклики в прессе, что всё неправда, как будто у советских людей не было штанов, чтоб их можно было снять. А тут ещё сентенции о подрыве марксистско-ленинской идеологии в «лианозовской группе». И всё это на полном серьёзе, точнее, курьёзе. Но сажать уже не сажали. Более того, зная ситуацию, я был уверен, что и те, которые писали столь грозные статьи, сами от души хохотали. Люди-то не были глупы, просто была запущена машина идеологического и пропагандистского идиотизма, и остановить её было нельзя. Машина сама по себе, а люди сами по себе.

Потом такая пропаганда сказалась и в более важных вещах. Ясно, что уже в шестидесятые годы эта машина фактически работала против советской власти. Отдохнуть нельзя у кирпичной стены, тоже мне — гегемония пролетариата!

...Вообще частенько существовали недоразумения. Я уж не помню, кто из наших ехал в троллейбусе, возвращаясь домой из пивной, без штанов. В трусах, конечно, но без штанов. И, мирно выходя на своей остановке, попал в руки возмущённого милиционера.

— Где штаны? — крикнул тот.

— Что такое штаны по сравнению с вечностью?... — с грустью произнёс поэт.

Милиционер успокоился.

Штаны штанами, вечность вечностью, но к середине 60-х годов в положении Южинского произошли негаданные перемены. Невозможно было дальше испытывать терпение даже самых добрых и благожелательных жильцов, каковыми и были мои соседи.

— О чём можно говорить целыми ночами, с вечера до утра? — возмущалась до полного изумления непосредственная соседка, Нина Тимофеевна, жившая рядом, за стеной. — Не переставая, говорить всю ночь!!! О чём?!

Одна только соседка, Софья Наумовна, мать моего друга детства Вадима, поддерживала меня всегда, но она знала меня с самого раннего детства, возможно, с того времени, когда в «моё» тело ещё не вошла душа, та самая, бессмертная. Да ещё, пожалуй, милиционер Володя как-то задумчиво был не против ночных бдений. Удивлял его только дикий, сумасшедший экстаз происходящего, не мог он пережить, как один из участников «ночных разговоров», залез на шкаф и оттуда внимал...

Пора было рассредоточиваться. Песни, чтения, безумства, стихи, эзотерика и философия становились всё реже и реже, но они перемещались в другие квартиры... При всём при этом, хотя «посиделки» становились реже, дух Южинского сохранился. Если говорить о литературе, то кумирами, полубогами, как и прежде, были Достоевский, Блок и Есенин. Всё это понималось, конечно, по-новому, до последних глубин, и они, эти люди, не только как писатели присутствовали среди нас, но и как живые — настолько их слово превращалось в жизнь. Я неоднократно писал впоследствии о Есенине, о безусловном магическом воздействии его поэзии, в которой жила сама древняя душа России, недаром в Великую Отечественную войну, когда решалась судьба и будущее русского народа, у многих солдат и офицеров в кармане был томик Есенина. Этот народ не мог погибнуть, даже если на него обрушились бы все силы ада, ибо в его душе, тайной и непостижимой, содержались зёрна высшего предназначения России в этом полупроклятом мире. О роли Достоевского в раскрытии граней русской души и говорить нечего. Величайший писатель мира сего сказал своё слово во всём объёме его подтекста. А вот о Блоке следует напомнить не только как о завершителе русской дворянской поэтической классики начиная со времён Пушкина. Для нас Блок, во-первых, был пророком. Его пророческий дар очевиден для всех, кто реаль-

но углублялся в его творчество. Но хочется привести начальные строки его поэмы «Возмездие»:

Век девятнадцатый, железный...
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!

...Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран, —
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман.

И наконец:

Двадцатый век... Ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла
(Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).

Это было написано в начале XX века, когда все учёные-циклопы, журналисты, политики только и выли о наступающей эре всемирного процветания, мира в Европе и прочего прогресса. Всего через несколько лет после этого события началась Первая мировая война, развязанная толстосумами и их прислужниками, не поделившими мир, власть и золото. И Россия, русский народ, оказались зажатыми в тисках между мировым вампиризмом капитализма, развязавшего войну, и яростным, кровожадным, разрушительным бунтом доведённых до отчаяния масс. Одно заблуждение пожирало другое... С этой войны начался истинный XX век, «время убийц», как чётко определил его Генри Миллер, да и не только он. Надо ещё добавить

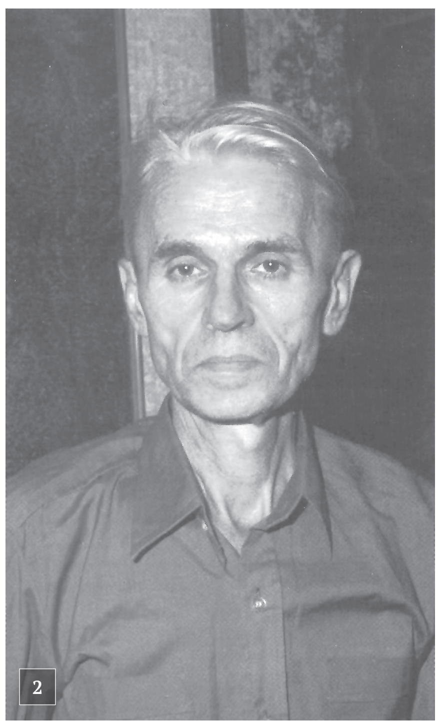
про сопутствующее фантастическое духовное опустошение и деградацию, невиданные в истории. Рухнуло всё, на чём стояло человечество. История знает кровь и смерть, но они никогда не сопровождались таким духом мрака, безверия, атеизма, скрытого и явного, как будто человек забыл о своём божественном происхождении и превратил себя в виртуальную пародию, поверив во все мыслимые и немыслимые заблуждения о своей сути и происхождении. Профанация профанированного заменила религию и Бога. России выпало на долю это чудовищное испытание, и она его выдержала.

Только позднее, попав на Запад —большое видится на расстоянии, — можно было понять до конца суть этого испытания и несравнимой ни с чем в мировой истории войн победы в Великой Отечественной войне, когда измученный народ (учитывая настроения крестьянства) фактически был ещё в состоянии скрытой гражданской войны, когда проходили аресты в армии, когда на нас двинулась вся фашистская Европа, руководимая обезумевшей от фанатизма и веры в своего фюрера Германией. И мы победили, казалось, непобедимое чудовище, которое было уже в двух шагах от становления своей мировой империи, несущей гибель России, русскому народу и нашей культуре, её Духу, её Слову. В далёкой Индии молились о нашей победе, ибо знали, к чему может быть предназначена наша страна.

Что же до великого Блока, то он видел многое другое, его любовь к России носила мистический, тютчевский характер и даже больше — в его поэзии чередовались великие прозрения и фиксация реальности «страшного мира», который вползал в историю рода человеческого.







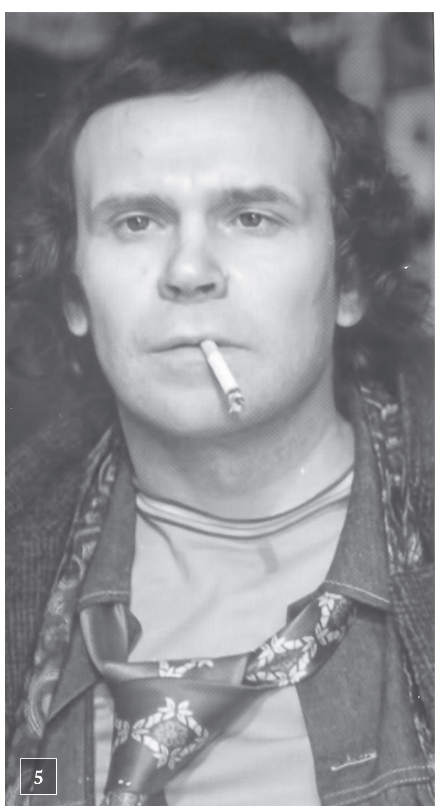


1. Художник и поэт Владимир Ковенацкий

2. Художник Борис Свешников

3. Художник и писатель Алексей Смирнов





4. Владимир Степанов
   60-е годы
5. Евгений Головин
6. Художник
   Владимир Яковлев
   в мастерской



7





7. Гейдар Джемаль

8. Елена Джемаль

9. Художник Борис Козлов



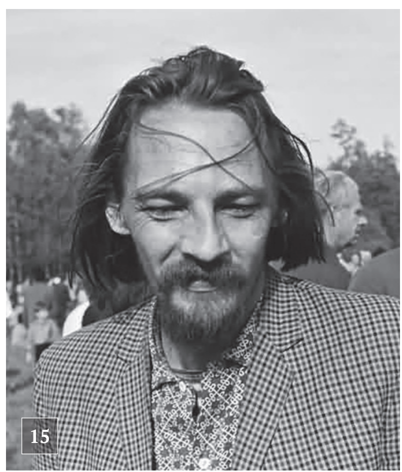


10. Художник Василий Ситников

11. Лариса Пятницкая берет интервью у Игоря Дудинского

12. Художник Анатолий Зверев





13. Лариса Пятницкая

14. Поэт Леонид Губанов

15. Художник Владимир Пятницкий

«Шатуны»

Я уже немного рассказал о ситуации, предшествующей написанию «Шатунов», описал внешнюю обстановку, но главное — это рассказать о том, что, собственно, сподвигло меня написать такой роман, что повернуло мою мысль и моё сознание в глубь такой бездны.

Импульсом послужила мировая ситуация XX века, чего греха таить. У многих, по крайней мере, у нас в Москве, сложилось впечатление, что с человеком как с духовным существом в этом мире покончено, что религия капитулировала перед смрадом современного мира, в котором мы видели только войны, только насилие и постепенное отступление религии или насильственным путём, или путём её превращения в пародию, в карикатуру на религию, когда она настолько политизируется, что уже теряет все признаки религии. На Западе нам рассказывали, что протестантские священники в тамошних христианских церквах учат, что-де религия — это только мораль; никаких углублений в дух, никаких попыток созерцания света Божественного — того, что издревле практиковалось в христианской религии, — всё это должно быть отброшено. Ощущение было такое, что духовная традиция прошлого отступила, и наступила совершенно новая эра. И мы брошены Богом на такое испытание, Он желает проверить, как мы поведём

себя в этом дремучем лесу, на грани такой бездны, отрезанные от всего. Но зато мы были свободны и ощущали, что нужно снова переоткрывать то, что было «открыто», но уже *своим* глазом.

Роман «Шатуны» не был книгой отчаяния. Но в нём содержалось указание на то, что даже в самой экстремальной человеческой ситуации необходимо, с одной стороны, дойти до дна, до глубокого, сюрреалистического падения и, с другой стороны, обнаружить в этой тьме возможность каких-то необычайных духовных прорывов. Это был поиск Бога в аду. Ведь в аду все человеческие критерии — как душевные, так и духовные — сдвигаются, и образуется некое новое мировоззрение. Этим адом мы, представители нонконформистского мира, считали жизнь в XX веке. Мы полагали, что так живёт весь мир. Мы, конечно, не касались восточных цивилизаций, не знали, что за жизнь там; трудно было судить, скажем, о том, как живут мусульмане, но то, что творилось на пространстве христианских религий, на пространстве так называемого «белого человека», мы видели воочию — через книги и иную информацию. И не обязательно было посещать каждую страну, чтобы понять общий дух цивилизации — с этим всё было ясно как день.

Нас интересовала судьба духовной сути человека — жива ли она, и что значит поиск бессмертия в духовном аду. Этот духовный ад имел своеобразные черты, и в соответствии с этим герои «Шатунов» разбились на две категории. Одиноко стояла только загадочная фигура самого Фёдора Соннова — это был иррациональный импульс, бросок в бездну — и вот появился такой герой. Основная группа персонажей — разумные люди, бродячая интеллигенция, не официальная и не диссидентская, конечно, но ищущая. Духовные прорывы этих людей были сродни погружению в бездну. Они хотят прорваться или в абсолютную истину или (если первое недоступно), по крайней мере, туда, где ещё не бывал человек. И поэтому они немного «сдвигаются». Но это не монстры, а обычные

люди, которые просто слишком далеко зашли в своих духовных исканиях. У некоторых из них существуют прототипы; яркий тому пример — Анна Барская, прототипом которой была Лариса Пятницкая. Немного от таинственного Алексея Смирнова есть в образе Анатолия Падова. Но главное заключалось в творении образов из скрытых движений человеческой души, из броска этих людей в неведомое — это всё равно что броситься со скалы в неведомый океан, и вот они бросились со скалы современного мира, чтобы уйти от ада и обрести духовное золото в этом неведомом броске.

Что касается второй группы героев, то это люди действительно уже сдвинутые; это те, кто не смог устоять, и их объяло «экзистенциальное сумасшествие». Пример — Куротруп — человек, сошедший с ума от страха перед смертью. Сошёл он с ума потому, что хотя он и был, возможно, в какой-то степени верующим, но всё-таки в основе своей эта «вера» представляла собой сплошное сомнение и терзание, что и послужило причиной столь жуткого перерождения.

Однако все эти персонажи, какими бы яркими они ни были, второстепенны по сравнению с Фёдором Сонновым. Они, ещё не войдя в океан Духа и не начав духовное исследование, потеряли рассудок; их поглотил мрак XX века. Конечно, имеется в виду духовный мрак, хотя и физического тоже было достаточно. Поэтому «Шатуны» — это всё же не роман о человечестве. Он и не о России. Это роман об исключительных людях. Их желания, их прорывы — редкость. Они онтологически характерны для этого времени, и поэтому этот роман — бросок в океан неведомого, это повествование о людях, исключительность которых является определенным знаком состояния души в духовном аду.

Эту книгу я писал летом 1966 года, а закончил в 1968-м, потому что 1967 год был годом некоей прострации и провисания, которые «притормозили» мой стремительный полёт в бездну. И в результате, когда я начал читать «Шатунов» людям своего

круга, они, конечно, были ошеломлены. Впрочем, впоследствии было уже достаточно других ошеломляющих впечатлений от этого романа. Когда я закончил книгу, меня вдруг осенило, что я сам не ожидал, что напишу такое; я сам ужаснулся. Дело в том, что я стремился к своего рода компенсации за невозможность публиковаться, то есть проявляться как нормальный писатель, поскольку касательно «Шатунов» нечего было и думать о какой-то их «легализации» — они оставались подпольным романом в строгом смысле этого слова. И компенсацией явилась возможность сорвать с человека все оболочки, обнажиться до предела; никакой цензуры, в том числе внутренней, поскольку даже когда внешняя цензура отсутствует, у писателя есть цензура внутренняя, естественная, потому что он отдаёт себе отчёт в том, что это будет опубликовано и что люди будут это читать. «Шатунов» же можно было читать только своим — близким друзьям, сугубо нашему, узкому даже по отношению к неконформистской литературе кругу; всё равно что самому себе. Во всяком случае «Москва – Петушки» Венички Ерофеева могли рассчитывать на более открытое понимание. И вот это самое сдирание всех оболочек потому имело место, что было интересно увидеть, до каких вообще пределов может докатиться человек.

Но это всё-таки было второстепенным, потому что главная идея состояла в том, что персонажи, которых я частично видел и в жизни, несли в себе зачатки исключительной личности; они были редки, но они попадались. И интересны эти люди были тем, что, находясь в какой-то экстремальной внутренней ситуации, они могли открывать вещи, которых нормальный человек не мог и вообразить. Ведь нас в основном окружали нормальные люди — чуть-чуть загадочные, конечно, но всё же нормальные. И хорошие к тому же, с нормальной точки зрения. А в «Шатунах» было совершенно другое «опускание».

Писатель Джим Макконки, о котором речь впереди, в одной своей статье касательно «Шатунов» сравнивал меня с Фланнери О'Коннор, замечая, что «это единственная американская писательница, которая имеет сходство с Мамлеевым». Но далее Макконки пишет, что произведения О'Коннор имеют конкретные, даже бытовые черты, и там ясна социальная ситуация, в которой происходит действие. Всё знакомо — люди, страна и прочее. А у Мамлеева всё чересчур сюрреально, он абстрагируется от всего конкретного, уходя в бездну, и при чтении его произведений складывается впечатление, будто «земля превратилась в ад без осознания человеком, что такая трансформация имела место». Я думаю, что это хорошая характеристика XX века — эпохи крови, невиданных войн, преступлений, отречения от Бога. И это не только мнение Джима Макконки, Генри Миллера или моё — все писатели, как на Западе, так и в России видели в XX веке нечто чудовищное.

Хочу подчеркнуть, что «Шатуны» — не социальный роман. И Джим Макконки завершил свою статью замечанием, что в основе этой книги лежит глубинное религиозное чувство, можно сказать, поруганное этим миром. Об этом я писал в предисловии к одному из изданий «Шатунов». Я считаю, что, вообще говоря, XX век имеет и позитивные стороны — в духовном плане. Позитив заключается в том, что божественность в человеке нельзя убить полностью, и какое бы безумие его ни охватывало, Бог всё же присутствует в его жизни. Такой вот парадокс: падший мир и одновременно присутствующий Бог. Ведь считается, что Бог проклял мир и одновременно его возлюбил, послав Сына Своего искупить грех мира, и это противоречие видно в «Шатунах», но там это показано также немного с другого угла, поскольку речь идёт об исключительной ситуации и о людях, которые мечутся в поисках своего прорыва.

Если говорить, уже отвлекаясь от «Шатунов», то, конечно, подобная ситуация не является свидетельством только «прокля-

тия» — она указывает также и на то, что мы оказались в таком положении неспроста — нам, человекам, уготовано какое-то невиданное, великое, могущественное испытание. Другими словами, прожить жизнь в XX веке — есть величайшее испытание, которое только и может выпасть на долю человека. Это духовное испытание; оно позитивно в том отношении, что если мы его выдержим, то, значит, Бог не умер в нас. Он не умер в России, не умер в душах многих людей, несмотря на все испытания, которые обрушились на людей XX века.

С другой стороны, конечно, прав был Валентин Провоторов, назвав этот роман «очень эзотеричным». Там есть такие глубины подтекстов, которые даже мне самому не ясны, но, тем не менее, такой мэтр, как Провоторов и другие, такого же уровня, порой могли уловить то, чего я не видел в собственном романе. Это понятно, потому что он написан силой какого-то медитативно-иррационального прорыва — что-то шло помимо меня. Я ужаснулся, я как бы отрицал то, что я написал. Но это, конечно, было проявлением слабости — ведь раз ты увидел нечто, да ещё и смог это описать, значит, это имеет особое право на существование.

Что же касается реакции на этот роман, то она была настолько неоднозначной, что если собрать вместе все разбросанные отзывы — опубликованные и особенно не опубликованные, — то, думаю, получилась бы солидная книга, может быть, не менее интересная и знаменательная, чем сами «Шатуны».

***

Время во второй половине 60-х годов (как раз, когда случилась встреча с Валентином Провоторовым и велась работа над «Шатунами») тянулось довольно беспокойно — с тусовками, обычной работой в качестве учителя математики, встречами с самыми разными людьми. Общая атмосфера была благоприятной, люди,

даже случайные, были довольно интересны, и странно: люди жили, в сущности, по христианской морали, хотя она и называлась «коммунистической». Но это была как бы купированная христианская мораль, христианская мораль без Бога. Удивительный факт состоял в том, что люди могли придерживаться моральных норм и верить в их абсолютность без веры в высший разум, без веры в Бога и бессмертие души. Они верили только в то, что после недолгой жизни они уходят в полное небытие. Этот бредовый парадокс жизни в XX веке был налицо и в Советском Союзе.

В других странах это принимало иные формы, но суть оставалась той же. Тем не менее я чувствовал, что в советской жизни господство атеизма и материализма и давление на умы людей имело определённый успех в том отношении, что проникало в сознание людей; не всех, конечно, но очень многих. Не могу привести данных статистики, потому что никакая статистика не может охватить того, что творится в человеческих душах. Знаю только одно: раковая опухоль атеизма действовала на многих людей разрушающе, причём втайне разрушающе. При этом у них был некий механизм защиты от последствий атеизма — от неверия в высшие ценности и бессмертие души. Этот механизм срабатывал, но, увы, до какого-то определённого момента, и в глубинах эта «антивера» всё-таки сильно разрушала человека, осознавал он это или нет. Это было одной из причин ухода в пьянство — людям хотелось заглушить эти тайные душевные движения, чтобы не погрузиться в онтологический, духовный пессимизм. Люди защищались. Но я чувствовал, что в отдельных случаях это действовало даже на поверхностных уровнях, что было очень печально, потому что была подорвана основа человеческого существования во все века — вера в Бога, в бессмертие души и знание, что это действительно существует, знание, которое прошло через всю историю человечества. Глядя сквозь призму всего происходящего в мире, можно было

подумать, что этот мир создан или по ошибке, или с целью какого-то испытания, или же это просто какая-то сюрреалистическая, абсурдистская картина.

Такова была общая атмосфера, но внутри неё, в нашем круге, в среде так называемых неконформистов, да и в кругах официальной интеллигенции зрело убеждение, что подобная ситуация не может длиться долго. Я не имею в виду какие-то политические настроения, диссидентство. Просто было ощущение, что это — век испытаний и что это неизбежно кончится, когда — неизвестно, может быть, не при нашей жизни, но кончится, и возникнет другая цивилизация.

Тем временем, ещё до знакомства с Гейдаром Джемалем я, дабы «замкнуть» эзотерический круг Южинского, встретился ещё с рядом интересных людей. Одна из таких встреч была с небезызвестным Эдуардом Лимоновым. Он прибыл из провинции и словно какой-то силой сразу был вброшен в неконформистский мир и безусловно признан всеми, кто слышал его стихи. Поэт он был, действительно, изумительный. Ему очень помог Генрих Сапгир, который сразу оценил его стихи и понял, что это настоящая поэзия. После этого Эдуард Лимонов стал автоматически вхож в различные «салоны» и прославился в неконформистском мире.

Я с Эдиком познакомился на одном из чтений; я там читал какие-то свои рассказы. Он произвёл на меня весьма достойное впечатление. Тогда он был молод, эстетски продвинут, и несмотря на то, что приехал из провинции, походил на закоренелого жителя столицы. Глядя на него я думал: «В нашем полку прибыло». В те годы никто и вообразить себе не мог, какая судьба уготована этому человеку, и что такой тонкий, изысканный поэт станет революционером. Но это уже другая история. Пока, в 60-х годах, его в «салонах» считали одним из лучших поэтов нашего времени. И это радовало, потому что не один Губанов царствовал в Москве в смысле поэзии, были и другие.

Другая встреча, которая, по ощущениям и по духу в корне отличалась от встречи с Лимоновым, была с молодым, никому тогда ещё не известным Александром Прохановым. Эта встреча произвела на меня неизгладимое впечатление и даже зародила некоторые духовные сдвиги, которые проявились уже потом, в эмиграции и после неё, по возвращении в Россию.

Встретились мы у него на квартире. Саша тогда был молодым антикоммунистом и просто тонким человеком, чувствующим литературу и уже пишущим; у него была замечательная жена Галина. Атмосфера их жилища была пронизана тонким светом какой-то подлинной, глубинной русскости. Мы пели народные песни, причём не только известные, но также редкие и малоизвестные — Проханов знал их очень много. Вся эта обстановка произвела на меня почти шоковое впечатление, потому что у этих людей я почувствовал глубину русской души. Я, конечно, сталкивался с глубинами русской души и в других ситуациях — например, у Достоевского, да и вообще, это проявлялось у многих людей, которых я встречал, но сейчас открылась какая-то иная сторона — атмосфера Прохановского дома была пронизана не просто тоской, а великой тоской и каким-то метафизическим движением. Меня это просто захватывало, и как-то концептуально подходить ко всему этому, к этим народным песням, было нелепо; они были настолько иррациональны, настолько захватывали душу, что этого было достаточно, чтобы ничего о них не говорить, а просто их ощущать, ощущать их глубины и позволять им входить в душу как часть Великой и Тайной России.

Сам Александр мне очень понравился, и единственное его сходство с Лимоновым было в непредсказуемости судеб — я и подумать не мог, что этот настолько глубоко чувствующий Россию человек станет потом одним из известнейших русских писателей с политическим уклоном.

В конце 60-х годов для меня более или менее прояснилась ситуация, в которой я оказался. Во-первых, после написания «Шатунов» я понял, что я настоящий писатель совершенно нового направления и что мне необходимо публиковаться. Где угодно, хоть за границей. Годы мои шли к сорока; пора было решать проблему. Постоянно оставаться пусть и в замечательном интеллектуальном, но всё же подполье было нельзя — нужно было выходить на взрослый уровень. Будь вы писателем — кого бы вы хотели видеть в числе своих поклонников — Достоевского, Гёте, Шиллера или миллионы обывателей? Вот и я выбирал первое, потому что оценка меньшинства была точной и определяла место писателя в литературе. Но, с другой стороны, в условиях советской власти такому писателю, как я, чрезвычайно трудно было социализироваться. Моё авторское самолюбие было в высшей степени удовлетворено моей читательской аудиторией — эти люди реально глубоко секли в литературе, но всё-таки этого было недостаточно. К тому же у меня были опасения, что всё написанное мной может просто сгинуть в тупых облавах, которые проводились нечасто, но неожиданно.

С другой стороны, возросла интенсивность философских исканий, и ответом на них была неожиданная встреча с человеком по имени Гейдар Джемаль. Мы тогда называли его просто Дарик. Тогда, в 1968-ом, он был ещё очень молод, однако его философские способности были весьма значительны. Я стал его «учителем», и он быстро вошёл в Южинскую группу. Но об этом речь впереди. Сейчас настало время рассказать о событиях, которые полностью изменили линию моей судьбы — творческой и личной.

***

В конце шестидесятых уже чувствовалось, что грядут большие перемены. Тем не менее, жизнь текла в старом ключе. Этот «ключ» был такого рода, что, бросив взгляд на 60-е годы в целом,

можно было с уверенностью сказать, что в духовном плане подобного времени не было вообще никогда, и всё, что тогда происходило, было абсолютно неповторимо — ничего подобного не было ни в 90-е годы, ни в XXI веке. Что я имею в виду?

Это, во-первых, та необыкновенность общения, которая касалась не только нашей среды, но и всего того времени в целом. Например, бывало так: на станции в вагоне метро открываются двери, заходит человек, садится рядом с другим человеком, обнимает его, и через минуту они начинают рассказывать друг другу свою жизнь. Это было абсолютно нормальным явлением. Сейчас в метро вы не увидите ничего и отдалённо похожего. Все отчуждены, разъединены, все сами по себе. Это чудовищно со всех точек зрения, в том числе и с точки зрения русского общения, русской культуры. Но я говорю также и об общении в среде интеллигенции, нас, неконформистов. Оно носило очень глубокий характер. Например, я встречался у памятника Тимирязеву с Мишей Капланом, замечательным поэтом, со многими другими персонажами Южинского и вообще неконформистского мира, и даже сидя вдвоём в каком-нибудь ресторанчике, в пивной или на квартире и распивая потихонечку что-нибудь или даже не распивая, мы могли открыть друг перед другом душу. Душа человека раскрывалась подобно удивительной, потрясающей книге, и вы могли прочесть её всю. Именно этим были интересны для меня люди. И если в компании тоже раскрывались какие-то грани, даже невидимые для самого персонажа, который вдруг начинал говорить какие-то совершенно необычные вещи, это был такой самоанализ наружу, самоанализ на людях, плеск фатальной интуиции, кружение голов… Сейчас, помоему, понятия «мужская дружба» уже не существует, а в Советском Союзе это было очень распространённое явление — именно дружба, причём основанная на единстве духовного опыта. И кроме того, это было очень весело, это как-то повышало жизненный

тонус, давало импульс, и все были напоены вином общения. У Сартра есть знаменитое выражение: «ад — это другие». Вполне понятно, почему он так сказал, но это характерно для ситуации Запада, где отчуждение между людьми достигло крайних пределов. В России же всё это было по-другому. В том, что касалось нашего общения, эту формулу можно было перевернуть: «рай — это другие». Человек раскрывал свою душу, и на этом зиждилась дружба, и не только мужская дружба, но и отношения с женщиной.

В общем, время второй половины 60-х текло полноводной рекой — вечера, встречи, потаённые выставки в почтенных институтах — художники добивались и такого, и подобную выставку уже нельзя было закрыть; продавали картины и за границей — тот же Харитонов.

Как-то вечером, от нечего делать, я подсчитал количество своих знакомых на тот период. Насчитал порядка 300 человек. Делая подсчёты, я имел в виду людей, которых знал лично и с которыми встречался хотя бы 2-3 раза. Те, о которых я был наслышан, в это число не вошли. Сюда входили, конечно, и самые близкие люди, но много было и читателей, которые то исчезали, то появлялись. В общем, это был огромный мир подпольного нонконформистского искусства. Часть этих людей не имела прямого отношения к Южинскому и к моему творчеству, но они пересекались с моими друзьями, с художниками, которых я любил (Оскар Рабин, Олег Целков, Анатолий Зверев, Владимир Яковлев, Александр Харитонов, Лев Кропивницкий и другие). Поэтому разные ошеломляющие встречи происходили постоянно.

Одной из таких была встреча с потрясающим художником и необыкновенным человеком Борисом Свешниковым. Сейчас он, конечно, известен в художественном мире. Мы познакомились так. Я пришёл к нему домой и увидел худощавого, астеничного человека с большими, глубокими глазами… Это был очень русский

человек; в его глазах сквозила боль, и при взгляде на него складывалось впечатление, что он пережил какую-то драму. А пережил он сталинский лагерь. Оказывается, он сидел там вместе со Львом Кропивницким, моим другом, тоже художником-абстракционистом. Они оба были юноши, поступили в институты живописи, но проявили несдержанность и стали рисовать то, что рисовать было не дозволено. Их арестовали приблизительно в 1947 году. После смерти Сталина они освободились одними из первых. Но отсидеть-то отсидели, и этого уже назад не вернуть... Борис Свешников отсидел несколько лет за совершенно невинные картины — там не было ничего антисоветского; был, может быть, сюрреализм и небольшая абстракция.

Мы сразу сблизились. Он продемонстрировал свои изумительные картины, посвящённые сталинским лагерям, но что удивительно — там не было ничего социально-политического, что характеризовало советское и диссидентское искусство, которое было тем и плохо, что его социально-политическая направленность, лишённая глубины и духовных прорывов, погубила множество талантливых, а может быть, и гениальных людей советской эпохи. Но у Свешникова дело обстояло иначе — его искусство не сопротивлялось советской власти. Это было настоящее искусство, которое превращало лагерь в реализованный ад или какие-то уровни ада. Вся лагерная жизнь в его картинах интерпретировалась мистически — там присутствовали страшные существа, смерть... Но картины на то и картины — их нужно смотреть; языком живопись передать крайне трудно. У Свешникова, как и у Босха, в картинах, помимо художественного мастерства, присутствовал сюжет. Босх изображал ад, и Свешников изображал ад — но не в прямом, а в символическом смысле, потому что существа, присутствовавшие на этих картинах, уже не были людьми; это были сверхъестественные создания, которые, по всей видимости, рождались в душах

заключённых. Во всяком случае, я это понял так; так чувствовалось. Я видел людей, переживших лагеря, и надо сказать, что для этого нужно обладать некоторым запасом стойкости, потому что если не сопротивляться духовно, тогда конец. Но Свешников выжил, и на его картинах я увидел изображение того, что творилось в душах заключённых, в частности в его душе. Это был русский, советский Босх; это был ад, воплотившийся здесь, на земле. Боря Свешников ни на кого не жаловался и никого не обвинял, он просто изобразил то, что он видел своими великими внутренними глазами, проникая в самую суть реальности, минуя её внешний облик. Я был просто потрясён его картинами и считал, что из всего, виденного мной (а я видел немало художников — от Кабакова до Целкова), Свешников был самым глубоким и сильным явлением. И это было видно по его личности, ведь художественное произведение — проекция личности человека. Само собой, без мастерства и таланта — никуда, но они должны быть наполнены каким-то содержанием, а содержание — это проекция личности человека, не в смысле его характера, а в смысле того мира, который он видел, того, как он его видел, как переживал смерть, жизнь и самые основы этой земной жизни, пребывающей в падшем состоянии.

Наши отношения с этим удивительным человеком продолжались на протяжении всего времени до моего отъезда, и я, конечно, читал ему свои рассказы. Он был глубоко впечатлён ими, до потрясения, как и я его картинами. Боря по секрету сказал мне, что мои рассказы действуют каким-то удивительным образом, но это не магия, а более глубинное воздействие. Он сравнивал меня то с Достоевским, то с Кафкой, то ещё с кем-то. Сравнение с Кафкой я сразу признал несостоятельным, поскольку, хотя мне и нравился этот писатель, но я считал его весьма односторонним, потому что его вещи отличала абсолютная безысходность; такой безысходности я вообще никогда и ни у кого не встречал. На мой

взгляд, это весьма односторонняя, субъективная интерпретация мира. В моих произведениях, например, никакой безысходности нет. В них присутствует фантастический мир (земной мир можно признать фантастическим), потому что жизнь в Кали-Юге, в эпохе падения, по сравнению с другими мирами, где нет вообще никакого зла, кажется фантастической. Мы этого не осознаём, но на самом деле жизнь, которую мы ведём — это фантастическая жизнь; такое, как у нас, редко бывает во вселенной. Я не беру ад, конечно.

Итак, сравнение с Кафкой я отверг, но Достоевский — это сверхгений, и здесь никаких возражений с моей стороны не было… Я замечал у Бори грустный взгляд, но этот взгляд не зависел от того, что он пережил в местах заключения; он говорил, что ничего такого уж страшного там не было. Источником его грусти было осознание несовершенства жизни и несовершенства человека современного падшего мира. Это его мучило. А мучило его это потому, что он смотрел в самую глубь вещей. Можно жить материально прекрасно, как живут, например, в Скандинавии, и кончать самоубийством от такой жизни (там, оказывается, в своё время было зафиксировано наибольшее число самоубийств). Одна финская студентка писала Игорю Золотусскому (я переношусь в наше время), что если бы не русская литература, она бы покончила с собой, почему — потому что именно русская литература привносила в жизнь элемент Духа, элемент высшего уровня реальности. Не просто словесное воспевание Господа Бога, а глубокое понимание драмы этого мира и существования высшего мира одновременно.

Всё это мы обсуждали с Борисом Свешниковым, и, видно, он пролил немало внутренних слёз, наблюдая состояние людей во всём мире. У него был глобальный взгляд на жизнь на этой земле. Когда мы уехали за рубеж, я не раз вспоминал этого человека. По возвращении из эмиграции мы виделись только однажды и почти не разговаривали, потому что он, оказывается, был болен ра-

ком — болезнью XX века, унёсшей огромное количество жизней в Европе и США и никак не проявившейся на Востоке, в исламском мире, например... По всей видимости, дело тут в двух разных типах менталитета. Американская жизнь, конечно, слишком антитрадиционная, и это, безусловно, приводит к стрессу, а стресс — к болезни. Другое дело — традиционное общество.

Боря умер в 90-х годах. Это был действительно великий человек. А некоторое время спустя у меня состоялся застольный разговор с одним моим знакомым, который знал Борю и общался с ним. Он передал мне слова Свешникова о том, что ему очень тяжело жить в 90-е годы, что эта эпоха вызывает у него ужас и такое отвращение, что он предпочёл бы жить в сталинское время, потому что сейчас души людей полностью извращены, и поклонение золотому тельцу становится главной их чертой... Это уже предел падения. Вот так говорил Борис Свешников, великий художник XX века... Я знал многих людей, которые были того же мнения о 90-х годах. И это говорили те, кто когда-то были ярыми противниками советской власти. Что поделать: ирония судьбы — одни заблуждения борются с другими.

Другая встреча той эпохи была с человеком, может быть, не такого таланта и глубины миросозерцания, как Свешников, но тоже Борисом, тоже художником и замечательным человеком по фамилии Козлов. Он был интереснейшей личностью и, кроме того, поэтом; окончил истфак МГУ, но вёл свободную жизнь художника сюрреалистического толка. Он не снискал такой известности, как Оскар Рабин, Олег Целков и другие мои знакомые. Но тем не менее этот человек очень быстро вошёл в самый центр Южинского. Его личность прямо-таки тянулась к тому, что у нас было определяющим. Когда Козлов увидел Мишу Каплана, то они просто были потрясены друг другом. Они были даже внешне похожи, и Миша потом написал хорошие стихи об этой встрече «со своим двой-

ником», как он выразился. Они сразу стали друзьями и были неразлучны в то время. Но главное, что принёс Борис Козлов в наше существование, это то, что он познакомил меня с человеком, который оказался в первом ряду тех эзотерических людей, коих немного и которые характеризовали метафизику Южинского. Это, конечно, были Евгений Головин, Владимир Степанов — до этого. И вот появился он — Валентин Провоторов.

Козлов был с ним знаком по институту — Провоторов тоже закончил исторический факультет, преподавал историю. И вёл он внешне нормальную, семейную жизнь — жена, ребёнок, всё как полагается. Но говорить о Провоторове — это значит перейти к какой-то другой главе; об этом человеке нужно говорить отдельно. Но раз вышло так, что эта фигура выплыла хронологически, после моей встречи с Борей Козловым, со Свешниковым, если у меня есть силы говорить о нём и о «Шатунах»... Право, не знаю, есть ли у меня сейчас силы об этом написать, в данный момент... Я пребываю в некотором замешательстве. Думаю, что всё-таки лучше отложить разговор об этом совершенно уникальном персонаже Южинского. О нём ещё будет время поговорить.

Сейчас мне хотелось бы рассказать ещё об одном человеке из ряда вон, обойти которого просто нельзя. Речь идёт о Веничке Ерофееве. Встреча с ним произошла тогда, когда я уже нашёл свою гавань, встретил навеки любимую жену Марию. С Веничкой мы познакомились следующим образом. Неожиданно вышла в свет его книга, которую называют «Илиадой русского алкоголизма». Но это произведение, конечно, гораздо глубже этой характеристики. Эта книга произвела сенсацию в подполье — мы просто упивались ей, настолько она была необычной и драматичной, трагической даже; она проливала совершенно иной свет на алкогольные путешествия и переживания. В поэме «Москва — Петушки» было то, чего не хватало и советской, и антисоветской литера-

туре; эту книгу можно было без преувеличения назвать русской классикой. Веничкина поэма вполне укладывалась в формат русской классики в полном смысле этого слова, потому что в ней были дикий восторг полёта и ужас падения, в ней были глубочайшие страдания, слёзы, терзания и метания души человеческой… Вокруг личности Венички и его поэмы ходили легенды… О каких-то странных людях, окружавших Веничку, которых никто никогда не видел. О каком-то загадочном человеке по имени Вадим… Так или иначе, наша встреча была неизбежной, и получилась она достаточно напряжённой, потому что Веничка мало читал мои рассказы, и хотя он признавал их цельность и силу, они были чужды ему. Тем более, он сам был очень цельный и сильный человек, идущий по своему пути. Но первые наши встречи были всё-таки доброжелательные, в обстановке алкогольного экстаза, на квартире Павла, мужа замечательной Светланы Радзиевской, с которым я был знаком ещё раньше… Кстати, Светлана была простой девушкой, но, попав в наш круг, совершенно преобразилась в плане личности — получился исключительный человек… Ну, и вот там, на этой квартире, я впервые увидел Веничку. Присутствовало ещё несколько человек, и они тут же, хором, предложили устроить соревнование — кто из нас больше выпьет водки. Мои алкогольные путешествия тоже были знамениты, но до Венички мне было далеко. Выпив два стакана, мы уже наливали третий, и тут Маша запретила это «безобразие», испугавшись за меня, потому что третий стакан водки — это уже серьёзно. Соревнование окончилось ничьей, но если бы оно имело продолжение, то Веничка, несомненно, перепил бы меня.

Однако это было одной стороной реальности. В Советском Союзе реальность вообще была многогранна, и одна её сторона могла быть прямо противоположна другой. Напомню знаменитое выражение американской прессы, уже после распада СССР, о том,

что Советский Союз был страной огромных достижений и огромных провалов. Это действительно было так, и, конечно, лучше жить с небольшими достижениями, но без огромных провалов. Однако это была весьма односторонняя, грубо-социальная оценка ситуации; в целом жизнь была, конечно, сложнее. И одним из очень важных моментов в философском её осмыслении был, как мы его называли, «психоз пещеры».

Это «понятие» было навеяно известными словами Платона о том, что наш мир напоминает пещеру, у выхода из которой мелькают тени другого мира, и люди, находящиеся внутри, могут лишь догадываться о происходящем на поверхности. Здесь подразумевается замкнутость материальной жизни по отношению к высшим реальностям, куда человек уходит после смерти. Более того — целые пласты этих реальностей, даже весьма близкие к физическим проявлениям, людьми не воспринимаются вообще. То, о чём говорил Платон, всё сильнее проявляло себя в XX веке, в эпоху навязанного полицейского материализма и атеизма, которая усугубила пропасть меж миром людей и высшей реальностью, поскольку любые отношения с религией были приравнены чуть ли не к уголовщине. Такова была официальная точка зрения. Стоило невинному комсомольцу заглянуть в церковь, как его немедленно накрывало волной общественного гнева и возмущения. Да и современном мире голого чистогана все духовные реалии самым решительным и грубым образом отодвигаются на задний план, и антидуховная тотальность XX столетия создавала ощущение, что люди обитают в замкнутом пространстве, где со смертью заканчивается всё. Продвижение же возможно только в физический космос, на ракетах. О Боге и тысячах других миров речи не шло.

Все эти антитрадиционные усилия человечества были, конечно, смешны, однако «психоз пещеры» всё-таки давал о себе

знать, и многие тонкие личности чувствовали себя, как в тюрьме, которой был весь мир. У Евгения Головина в стихотворении «Народная песня» есть такие слова:

...А у меня сидит гармонист,
брызгается слюной.
А у него истерика,
— Всюду, — кричит, — тюрьма!
Жажда иного берега
сводит его с ума.

«Жажда иного берега» выражалась в яростном стремлении выбраться из «пещеры» на необъятный вселенский простор, над которым стоит бесконечный Бог, который не вмещается ни в какие теории, ни в какое богословие, который выше и бесконечнее всего... И как жалка была пещера, сидя в которой, люди полагают, что после смерти они обречены на небытие...

Я заметил, что в нашей среде «психоз пещеры» у людей выражался в том, что ситуация, в которой они оказались, вызывала у них сюрреальный, негативный протест по отношению к этому миру вообще, злую насмешку над ним. В этом протесте не было попыток познания того, что за гранью, скажем, через традицию, нет — это был именно сюрреальный взрыв, стремление к глубинному пониманию этого мира как псевдореальности, как сумасшедшего дома. Даже в официальной культуре, например в американском кино, мелькали такие названия, как «Этот безумный, безумный, безумный мир».

Описанная ситуация во многом объясняет ту атмосферу, которая царила на Южинском, и частично атмосферу моих рассказов. В наших душах бродили гигантские противоречия, подобные огромным достижениям и огромным провалам СССР. Эти противоре-

чия выражались, конечно, в моих рассказах, и может быть, по этой причине эти рассказы имели почти магическое воздействие на молодёжь. Я помню один случай… Мы как-то вечером шли с Женей Головиным, он был немного выпивши и вдруг остановился, крепко взял меня за запястье и, глядя мне прямо в глаза, произнёс:

— От твоего лица веет холодом ада.

Потом, уже на следующий день, я спросил его:

— Что это на тебя вчера нашло?

Он сказал мне, что находился под впечатлением от моего рассказа про Васю Жуткина. Здесь имеется в виду «Макромир» — небольшой рассказ, из ранних. Я был удивлён. Казалась бы, совершенно невинный рассказ, у меня таких было много… А сюжет я взял из жизни, как и для многих моих ранних вещей. Суть вкратце такова. Я работал тогда в школе рабочей молодёжи, занятия проходили по вечерам, что было для меня очень удобно; дважды в неделю я приходил туда в качестве учителя математики. Иногда ещё я брал репетиторские часы в детских школах, и в этом состояла вся моя работа, а остальное время было свободно. Эти рабочие, уже взрослые молодые люди, которые доучивались до десятилетки, почему-то очень меня любили, и когда я уходил, выражали огорчение.

Однажды, войдя в класс, я обратил внимание, что уже в третий раз отсутствует один из учеников. Я поинтересовался, что с ним такое, и мне ответили, что он на спор, на водку, надел на себя два пальто, выпрыгнул с шестого или седьмого этажа и разбился насмерть. Эта история и легла в основу рассказа о Васе Жуткине. Фамилия прототипа была, конечно, другая, и ситуацию я выразил совершенно иначе, чем она была в действительности. Трудно вообще сказать, как такое могло случиться, но я добавил «своего» и описал этого молодого человека как совершенно сюрреального в своём отношении и к разуму, и к реальности. То есть законы обыкновенного ratio для него были псевдозаконами. Он, как

и многие мои герои, просто не считался с ними, как будто они ему навязаны. И эти герои действовали вопреки рассудку, не считая разум скрепой реальности; им хотелось разбить её оковы и совершать поступки вопреки разумности, раздвинуть природу нашего мира, чтобы уйти от неё куда-то дальше. Падая вниз, герой рассказа Вася Жуткин увидел слонов, идущих по улице, на которую он падал, и у него мелькнула мысль, что больше всего в жизни он боялся слонов. Когда его друзья прибежали, то обнаружили его уже мёртвым, проигравшим, одетым в два пальто... Короче говоря, пересказ рассказа, даже его интерпретация, это не совсем то, что рассказ; нужно просто прочесть, и всё станет ясно. И вот на Женю даже такие простые мои рассказы иной раз действовали с необычайной силой. В этом рассказе его поразила ещё и сама фамилия персонажа; он называл его «мосье Жуткин»...

Тайна воздействия моих рассказов (о «Шатунах» — умолчу) частично заключается именно в этом восстании против законов ratio. На этом же основан мой известный рассказ 60-х годов «Жених», который решили даже поставить на сцене одного из австрийских театров, поэтому я написал по нему пьесу. Сюжет также основан на реальных событиях. Там описан случай, когда советская семья берёт на попечение сироту, но этот сирота, который учился где-то и был молодым начинающим водителем, задавил случайно, по неопытности, их маленькую дочку на своём грузовике, и вышло так, что эти люди приняли в семью убийцу своей дочери...

Вот так мы жили в этой «пещере», называемой земным миром. Хуже всего было с теми (а это большинство людей на земном шаре), которые не замечали, где они живут, что с ними будет после смерти. Худшего и представить себе нельзя. Любой сюрреальный протест — это уже огромный сдвиг.

В таком ключе двигалась жизнь. Одним из ярких впечатлений были поэтические выступления Леонида Губанова; он читал свою

потрясающую поэзию, и вокруг него клубились прекрасные русские девушки, и мы, слушатели его, были просто зачарованы его магией и его манерой чтения, словно переносились на «иной берег», по ту сторону яви. Ныне повторить подобное уже невозможно, как невозможно повторить то общение, которое было в шестидесятые. Сейчас, да и в 90-е годы это уже было невозможно. Но мимо личности Губанова невозможно пройти. Это было действительно уникальное явление в русской поэзии второй половины XX века. Прошли ошеломляющие полвека русской поэзии, включая, конечно, Серебряный век, давшие нам таких гениев, как Блок, Есенин, Маяковский, Цветаева и ещё поэтов пятнадцать — талантов мощного уровня. После такого горнего потока можно было бы ожидать поэтов вторичных или просто ограниченных советской или антисоветской ментальностью. В сущности, так оно и случилось. Но были исключения. Одно из них — как раз Леонид Губанов.

Впервые я увидел его в ранние 60-е, в одном из московских литературных салонов, но в полудомашней обстановке. Это был совсем ещё подросток, мальчик с «серым конём своих глаз», эмоциональный до истерики в лучшем смысле этого слова, несомненно, интуит, хулиганистый и погруженный в поэтический огонь. Когда я прочёл свой рассказ, он вскочил и стал от восторга бегать, хлопать руками, хохотать, прыгать. И таким прыгуном он мне запомнился сначала. А потом пошли стихи, СМОГ («Самое Молодое Общество Гениев»), которое он вёл, чтения и скандалы. Совсем по-есенински, хотя его любимым поэтом была, кажется, Цветаева.

Разумеется, Губанов бывал на Южинском, но у него разрастался свой круг. Я бы назвал его поэзию «поэзией священного безумия». Образы врывались интуитивно, взрывом, разрушая порой логическую связь, но сохраняя внутреннюю, интуитивно-мистическую. О гибели, о любви, о России, о сумасшествии мира сего, но порой врывалось: «Ну а Бог, ну а Бог, ну а Бог!!!» И что? Послед-

нее обращение к Тому, кто выше разума и безумия? Надрывающее ожидание того, что Истина вот-вот упадёт с неба, но она не падает? Остаётся только «Полина, полынья моя...» — прославленная поэма, написанная шестнадцатилетним мальчуганом.

Выступления Губанова неслись волнами по незабываемым шестидесятым. То были квартиры, салоны художников, ещё что-то третье... Его чтения действительно напоминали выступления Есенина, но проходили ещё с большим надрывом, однако не уводящим во мрак, а наоборот. Души слушающих улетали куда-то вверх, в необозримый фантастический простор, где метались образы губановских стихов:

Дни летят светло и быстро,
Как триумфы у артиста,
Как весёлая коляска
На глазах у поселян.
Где малиновая шляпа
Шалопая с конским храпом,
Где двенадцать дев, поплакав,
Душу ведьмы веселят.

Сама жизнь, её внутренний ритм, её проявления становятся поэтическим творчеством. Разумеется, это может сопровождаться появлением стихов, обычно мощных в этом случае. Однако это опасный, жертвенный путь. Подобная ситуация прекрасно выражена в известном стихотворении Жени Головина. Там есть такие строки:

И с обнажённого лезвия
Теки, моя кровь, теки.
Я знаю: слово «поэзия» —
Это отнюдь не стихи.

Обнажённая, как лезвие, жизнь, вне ratio, подчиняется идее поэзии с её ритмами и болью — такой и была жизнь Леонида Губанова.

Естественно, с таким настроем карьеры не сделаешь (я уже не говорю о самом Евгении Всеволодовиче, для него таких понятий вообще не существовало). Губанову, кажется, удалось при жизни опубликовать одно стихотворение в советской прессе, не больше. Это понятно: тупость советской цензуры не знала границ. Но была возможность публиковаться на Западе. Однако Губанов категорически отказался от такого пути. Он был убеждён: сначала надо публиковаться только на родине. Таким образом, он закрыл для себя возможность диссидентской карьеры. Конечно, для этой карьеры крайне желательными были русофобские мотивы, а не просто антисоветские. Губанов любил Россию; у него также особенно не было и антисоветских мотивов. И хотя на Западе могли бы состряпать из Губанова приемлемое блюдо и подать его кому надо, поэт этого избежал.

В своей повседневной жизни он не жалел себя — жизнь его превратилась в неостановимый поток — «теки моя кровь, теки». Леонид мог бы дожить до перестройки, сохраняя вокруг себя своих бесчисленных поклонников и поклонниц, и тогда... Но он сам призвал свою смерть, убеждая себя и других, что умрёт в тридцать семь. Так оно и случилось. Но его жизнь стала истинной поэзией:

В нервах, в планетах, в природе
Бьётся чёрный экстаз.

Но экстаз Губанова не был «чёрным» — это был экстаз священного безумия.

***

В начале этой главы я говорил о переменах, надвигающихся на нашу жизнь, и вот одна из них произошла как раз в конце

60-х годов. Она была связана с исчезновением Южинского, точнее, со сносом дома, в котором была моя квартира, где устраивались интеллектуальные, художественные и другие бдения. Дом начали сносить, и не сразу, конечно, но через какое-то время каждый получал свои квартиры. Все знали, что дом сносится, и пытались проникнуть на Южинскую квартиру, даже тогда, когда жильцы её, и я в том числе, уже съехали оттуда. Дом стоял фактически пустой, но тяготение к нему по-прежнему оставалось, как будто этот дом, уходя в небытие, утягивал куда-то дальше небытия, в какую-то неведомую реальность. И наиболее интересно последнее прощание с Южинским…

Оно произошло, когда мы с друзьями попали туда, когда дом был уже полуразрушен, и одна из стен моей квартиры была уничтожена. И когда мы вошли внутрь, чтобы попрощаться с Южинским и выпить в его честь и в память о нём вина, мы вдруг обнаружили, что стоим, словно на театральной сцене — квартира без стены выходила на улицу своей обнажённостью. Мы оказались оголёнными перед улицей. При этом внутри остались какие-то предметы мебели — вроде декораций, на которых мы и расселись, чтобы проводить Южинский в последний путь. И в этот момент нагрянула милиция. Почему — потому что с улицы всем было видно, что в квартире в креслах сидят молодые люди и что-то распивают. Вошед, милиция задала свои обычные вопросы, но претензии её иссякли, когда я предъявил документ, удостоверяющий, что я бывший хозяин этого места, и объяснил, что оно дорого нам как память и что мы пришли с ним проститься. Милиция улыбнулась, но сказала строго:

— Через полчаса чтобы вас здесь не было, вы нарушаете.

Слово «нарушаете» очень было тогда в ходу… Ну что ж, у нас было полчаса, мы простились с Южинским уже навсегда, и с тех пор его существование переселилось в литературу и в нашу память…

Но встречи продолжались, в разных местах. Летом очень было хорошо, особенно если подворачивалась какая-нибудь дача, где под каким-нибудь деревцем, под берёзкой, например, можно было «отключиться»... Ну и, слава Богу, были другие квартиры.

К этому времени появился ещё один персонаж, Игорь Дудинский. Это был совсем ещё молодой человек, но он обладал одним качеством — он был очень впечатлителен и впитывал всю глубину моих рассказов. С другой стороны, он общался со всем неконформистским миром. Он был связующим звеном между верхним, философским, этажом и другими этажами неконформистского мира Москвы. Он знал всех; его активность была необычайна. Он сразу стал моим яростным поклонником, но всё это кончилось для него не совсем удачно, потому что на него, не знаю, по какой причине, обратили внимание правоохранительные органы, и его приговорили к году ссылки в Магадан. У него была там, видимо, работа, и он на год исчез из Москвы, чтобы потом появиться вновь и играть ещё более яркую и активную роль в жизни московского подполья. Как потом выяснилось, на его примере власти хотели понять, почему молодёжь увлекается искусством, культурой, которая совершенно выходит за рамки соцреализма. Разумеется, имея в виду всё подпольное искусство — художников, поэтов и других... Среди нас даже был один подпольный композитор. В общем, власти интересовало, почему молодёжь, которая воспитывалась, да и, собственно говоря, родилась в советское время, вдруг начала проявлять активный интерес ко всему, что лежит за пределами советскости.

Перед тем как уехать в Магадан, Дудинский выучил наизусть один мой очень известный рассказ — «Человек с лошадиным бегом». Приехавши в место ссылки, он очаровал этим произведением местную интеллигенцию, и поскольку знал рассказ наизусть, он потом отпечатал его на машинке и распространил среди мест-

ных читательских и вообще интеллектуальных кругов (они были там, эти круги). И этот рассказ стал знаменем иного мира в Магадане. В тот период «Человека с лошадиным бегом» знали все, кто относил себя к фрондирующей интеллигенции.

Незадолго до перемен, о которых я буду говорить дальше, произошла очень значимая встреча, которая «замкнула» философско-эзотерический круг Южинского. Это была встреча с Гейдаром Джемалем, и об этом человеке следует сказать особо.



Джемаль

Когда я встретился с Гейдаром Джемалем, он был ещё очень молод, но с явной любовью к философии, к метафизике и к абстрактному мышлению. Он неумолимо прогрессировал в самопознании и чрезвычайно меня заинтересовал.

Надо сказать, что в нашем узком эзотерическом кругу так повелось, что тон задаю я. Однако влияние на меня других персонажей Южинского, я имею в виду Головина, Провоторова, Степанова, а потом и Джемаля, трудно переоценить. Мы все влияли друг на друга, давали друг другу советы, и это был очень глубокий духовный союз, причём возникший совершенно спонтанно, без всяких усилий. Это было объединение душ, очень разных, но имеющих что-то глубинно-общее. Кроме того, мы делились друг с другом своими откровениями, озарениями, видениями; это было общение с элементом свободного познания. И это было удивительно. Что же касается таинственной фигуры Провоторова, то он всегда стоял в стороне; он общался только со мной, и очень коротко с Головиным. Таким образом, его воздействие на других персонажей нашего круга шло через нас. Провоторов был визионером; это совершенно специфическая сфера, и кроме того, он обладал колоссальными теоретическими и практическими знаниями метафизики, и вполне объяснимо, что такие люди гораздо более замкнуты,

чем простые философы. Но нас с ним сблизили мои рассказы. Они произвели на него значительное впечатление, и он открылся мне. И я ему, естественно, отплатил той же монетой.

Но теперь о Джемале. Как я упомянул в начале, Дарик рос не по дням, а по часам. Жил он в центре Москвы, в районе Арбата, в старом доме, в просторной трёхкомнатной квартире. У него была жена, Лена Джемаль — личность совершенно выдающаяся и поженски глубокая, сыгравшая значительную роль в будущем нашего круга. Потом, в далёкие 90-е, она стала подругой моей жены, разошлась с Джемалем и соединила жизнь свою с самим Головиным. Она осталась ему верна до конца своих дней. Умерла Лена уже в начале XXI века. Эта была одна из самых необычных женщин нашего круга. И если Ларису Пятницкую я, можно сказать, изобразил в «Шатунах» в виде Ани Барской, то влияние Лены сказалось на некоторых персонажах романа «Московский гамбит», который я написал уже в эмиграции (замечу в скобках, что мои астрологические линии не указывали на эмиграцию, однако Валентин Провоторов сказал, что такое бывает, что я переместился на Запад лишь физически, духовно же остался и продолжал жить в России. Так оно и было).

Мне припомнился один момент, когда перед самым отъездом я встречался с Женей Головиным. Это было в начале семидесятых. У Жени тоже были мысли об отъезде из Союза, но его отговорила Белый Тигр. Она сказала следующее:

— Даже и не думай; таких, как ты, Запад на дух не переносит. Ты чересчур духовен и чересчур иррационален. В конце XIX века возможность твоего существования там ещё можно было рассматривать, и то с большими оговорками — ты русский до мозга костей… И потом, эта твоя манера жить, это презрение ко всему социальному, полное игнорирование его… На Западе ты просто пропадёшь.

Итогом было то, что Белый Тигр уговорила Женю Головина остаться в Советском Союзе, и я думаю, это было решение правильное.

Но всё-таки обратимся к самому Джемалю. Наше общение было очень интересным в плане того, что оно было философским. Дарик обладал мощной интеллектуальной интуицией. Тогда ещё у него не было более или менее сложившейся системы, которую он явил миру уже в 90-е годы, написав свои основные книги. Кроме того, он тогда не был исламистом; в ислам он вошёл только в конце восьмидесятых. И он не занимался политикой. Проще говоря, это был немножко другой Джемаль, чем принято думать; это был Дарик, более близкий и родной нам — простой московский философ в высшем понимании этого слова. И хоть тогда он до некоторой степени был ближе нам, чем сейчас, всё же его вхождение в ислам не имело для нас значения — что ж, ислам, так ислам, дело хозяйское. Наше общение протекало на метафизическом, а не на религиозном уровне. А наши с ним метафизические изыскания были во многом общие, во многом шли параллельно. Благодаря своей мощной интеллектуальной интуиции (в геноновском смысле этого слова) Дарик быстро вошёл в духовную ситуацию начала 70-х годов; он легко оперировал вещами, мало понятными другим людям — не только простым обывателям, но и ярким представителям философских кругов.

А на другом полюсе был Валентин Провоторов. Они были абсолютно противоположны друг другу, потому что Провоторов, конечно, с почтением относился к чистой мысли как таковой, к её возможности проникновения в высшие сферы бытия, но дело в том, что он был практиком, и это наложило глубокий отпечаток на его личность. Он с иронией относился ко всяческим проявлениям «золотых снов» в духовном плане, и чувствовалась в нём горечь по отношению к судьбе рода человеческо-

го. Вот такие были противоположные личности. Я как бы метался меж ними; встречаясь с Провоторовым, я погружался в один мир, Джемаль уводил меня в совершенно другой. Это было безумное кружение по лабиринтам духа.

Лена, жена Джемаля, относилась к нашим встречам с восторгом и говорила, что мечтает работать в морге. Вообще, дом Дарика был открыт не только для меня. Как-то Владимир Буковский забрёл случайно к Джемалю и был настолько поражён его философией, что заявил:

— Если мы придём к власти, мы вас первого расстреляем.

Хоть это и было сказано полушутя, тем не менее это высказывание показательно.

Посещала этот дом, конечно, и Лариса Пятницкая, и забредал пару раз вышедший из лагеря Илья Бокштейн, безумный поэт, впоследствии эмигрировавший в Израиль. Он очень ценил духовный мир России, но, конечно, здесь ему с его темпераментом оставаться было нельзя. С Джемалем общий язык они нашли.

Общение с Дариком было очень типичным для нашего эзотерического кружка на Южинском. Надо сказать, что оно сопровождалось не просто интеллектуальным, интуитивным познанием, но сам образ жизни был неким подтекстом того, что творилось на уровне интеллектуальной интуиции. Иными словами, мы не просто отвлечённо философствовали — наша философия исходила из самых тёмных глубин нашего существа, она превращалась в творчество. Это легче всего выразить в художественной форме, потому что жизнь была для нас тогда художественным произведением, не поэмой, конечно (потому что поэмой был XIX век), а каким-то проникнутым уже даже не Достоевским, а чем-то иным, суровым романом.

Удивительная вещь произошла, когда я, наконец, познакомил Дарика с Головиным. Джемаль с лёгкостью вошёл в наш круг. И Евгению была очень интересна их встреча, потому что он как раз за-

нимал особое место — он был мощным поэтом метафизического уровня и столь же мощной того же уровня личностью. Его образ жизни был совершенно потрясающим. И ещё, глядя на него, складывалось впечатление, будто он достиг какой-то совершенно особой реализации. Джемаль был просто восхищён им, и у них началось продуктивное общение, как и у меня с Провоторовым, как и у меня с Джемалем... В общем, южинский круг замкнулся.

Чтобы понять, почему Женя производил такое впечатление (не только на Джемаля, но вообще на своё окружение), придётся сделать прыжок в будущее, в 70-е годы, когда меня и Маши уже не было в СССР. В то время произошла история, которую мне потом рассказал Дудинский. Дело было под Москвой. Головин, Дудинский и кто-то ещё поздно вечером возвращались с пьянки. Женя был немножко пьян; он никогда не был пьян в обычном смысле этого слова; он просто пил. Когда компания проходила мимо железной дороги, Женя вдруг заявил:

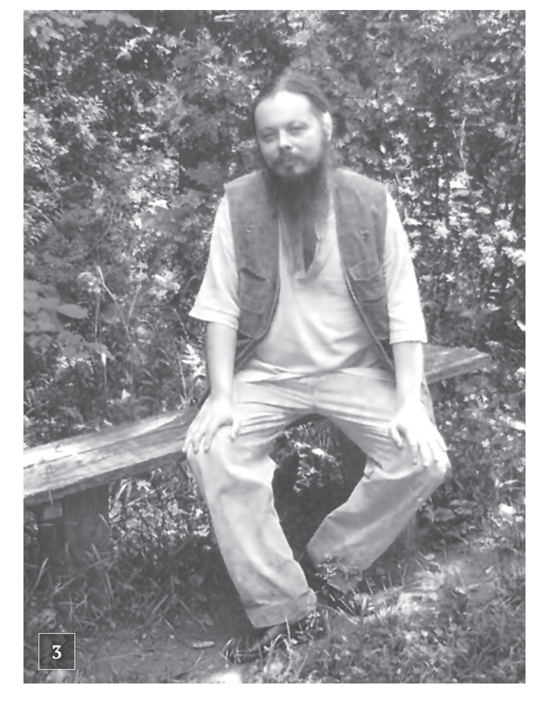
— Я устал.

И лёг на железнодорожное полотно, положив голову на рельсы. Он поднял глаза в бездонное русское небо и начал читать стихи по-французски. Это были стихи его любимого Рембо, Малларме и других изысканных французских поэтов. А в это время стал приближаться поезд; рельсы уже немного подрагивали. Головин видел это, но абсолютно не реагировал и спокойно, погрузившись в мистическую поэзию, читал стихи на французском языке. Его окружение, конечно, тоже было в какой-то мере отключено, но не настолько, чтобы погрузиться в мистическую поэзию перед приближающимся железным чудовищем. Короче говоря, Женя не изъявлял ни малейшего желания подняться; его пришлось оттащить. И вполне понятно, что такой Головин был с восторгом воспринят Джемалем, потому что и в его поэзии, и в его поведении, выражавшемся в абсолютном

презрении к социальной жизни, и в его знании алхимии и некоторых тайных наук, которые он рассматривал поэтически, потому что алхимия — закрытая сейчас наука, — во всём этом было столько очарования, что Джемаль был просто покорён, и именно поэтому окончательно создался тот метафизический круг, который существовал всё время, с определёнными вкраплениями восьмидесятых годов. Выглядел этот круг так: от нас ушёл Смирнов, но остались Степанов, Провоторов, Головин, Джемаль и я. Позднее, в 80-е, к южинскому кругу присоединился Александр Дугин и ещё один, менее известный, но от этого не менее интересный и уже ушедший от нас Сергей Рябов.







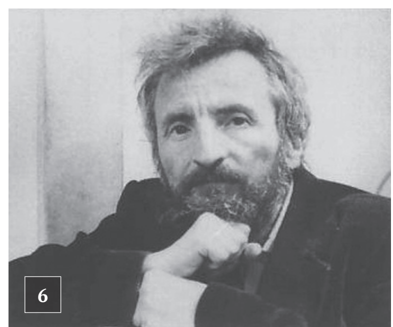
1. Владимир Степанов, Игорь Дудинский, Евгений Головин, Гейдар Джемаль (слева направо)

   Москва, конец 1970-х

2. Сергей Жигалкин (слева) и Александр Дугин (справа) на даче в Клязьме

3. Сергей Рябов





4. День первой, официально разрешенной на открытом воздухе, выставки художников-нонконформистов – Кира Сапгир, Генрих Сапгир, Евгений Кропивницкий, Аркадий Штейнберг, Эдуард Лимонов, Елена Щапова (слева направо).
   28. 09. 1974 г. Измайлово

5. Художник Олег Целков

6. Поэт Илья Бокштейн

7. Художник Михаил Шемякин и писатель Эдуард Лимонов

8. Перед отъездом в эмиграцию (слева направо): художник Борис Козлов, Юрий Мамлеев и пианист Михаил Деревянко



Перед отъездом

Именно в начале 70-х годов, после громких дел, связанных с Синявским и Солженицыным, было решено, что с «неконформистами», особенно в сфере литературы, нужно бороться не с помощью запретов, а какими-то другими, более «умными» методами. Именно тогда и родилась идея выпускать так называемых диссидентов, не только политических, как Буковский, но и диссидентов от искусства. Но таких оказалось ещё больше, гораздо больше, чем политических, потому что к тому времени сформировался целый мир художников, поэтов, литераторов. В общем, нужно было как-то решать эту проблему.

Применять против этих людей политические рычаги было невозможно, потому что большинство из них не выступало против советской власти в прямом смысле этого слова; они занимались глубинным самовыражением и создавали произведения, которые абсолютно не вписывались в простенький формат соцреализма. Особенно это касалось живописи. Но с писателями неконформистского мира надо было обращаться иначе. Скандалы, связанные с писательскими делами, уже изрядно подмочили репутацию Советского Союза. В эмиграции мы дружили с художником Михаилом Шемякиным, и он рассказывал такой случай, что на одной из выставок его прекрасных сюрреалистических работ

в Японии японцы спросили его, почему он уехал из СССР. Миша ответил: «Не я уехал, меня уехали». Японцы не могли в это поверить, они просто вытаращили глаза: как это из-за картин можно выслать художника из страны, сделать его идеологическим диверсантом? С их точки зрения, это был просто бред, дикость.

Такое впечатление нелепая политика Советов производила на Западе. И всё-таки не такой уж неуклюжей она была, как казалось на первый взгляд. Советская власть избавлялась от неугодных людей. Диссидентская линия эмиграции шла параллельно еврейской, о которой был договор между СССР и США. Единственно, диссидентская линия возникла полуофициально, но всё же с определённого согласия двух великих держав в том, что инакомыслящие, то есть люди искусства, политики и прочие, могут покинуть родину по этому «каналу» (параллельно с еврейским), но уже независимо от национальности. И таким образом известные художники, писатели, поэты — тот же Оскар Рабин, Олег Целков, Михаил Шемякин, Владимир Максимов, Эдуард Лимонов и многие другие — уехали. Дело в том, что на всех деятелей нонконформистского подполья были досье, все они были хорошо известны. Высоцкий, например, принадлежал к самиздату. А творцы самиздата воздействовали на общество гораздо сильнее, чем тогдашняя официальная литература. И, соответственно, интерес к ним был большой, поэтому властям ничего не оставалось, кроме как выдворять их из страны.

Если смотреть на дело с психологической точки зрения, то я был доволен своей творческой жизнью под идеологической плитой. Почему? Потому что моими произведениями восхищались люди самого высокого уровня понимания искусства. А мнение людей не просто знаменитых, но и глубоко разбирающихся в искусстве, безусловно, было для меня много ценнее, нежели мнение масс, о литературных предпочтениях которых лучше умолчать.

Поэтому, пребывая в подобной ситуации, я был полностью удовлетворён как писатель — меня окружали мои люди; это была и молодёжь, и профессора; кто угодно, но они понимали: в этой кузнице куётся настоящая литература, не советская, а именно русская. Так же, как именно к русской, а не к советской литературе принадлежат Платонов и Булгаков. Таким образом, я был счастлив пребыванием в подобной среде. Там были известные люди — как в будущем, так и уже в настоящем — и были неизвестные, но все они секли в литературе и в какой-то мере в философии.

Однако вопрос, как я уже говорил, состоял в том, как сохранить свои произведения, потому что случиться могло всё что угодно, да и публикация, как известно, не последнее дело в литературном творчестве. Сначала мы с Машей решили, что лучше всего остаться в Союзе и попытаться передать мои произведения на Запад. Это было возможно, в частности, через художников-нонконформистов, у которых каналы общения с Западом были достаточно хорошо налажены. Вполне приемлемо, хотя и не без риска, было переправить произведения по этим каналам. И едва мы собрались осуществить задуманное, как вышел указ Правительства СССР, настолько ошеломляющий, что ситуация перевернулась на 180 градусов. Указ заключался в том, что любая попытка передать произведение искусства (в частности, речь шла о литературе) за рубеж без официальной санкции Союза писателей является уголовным преступлением и, следовательно, автор этого произведения или тот человек, который пытался его переправить, подлежат уголовному преследованию. Это выглядело совершенно чудовищным и выходящим за рамки здравого смысла... Получалось теперь, что если стихи какой-нибудь молодой девушки о любви, цветах и бабочках попадут на Запад с целью публикации, то эта девушка должна будет отмотать срок. Самое абсурдное заключалось в том, что запрещена была передача *любых* произведений искусства, ко-

торые даже и не пахли никакой антисоветчиной, вообще никакой политикой. Подобные факты подлежали рассмотрению, автор легко обнаруживался, и ему могли пришить уголовное дело. Получить «красный гонорар» за свои произведения — это было уже слишком. Это стало для нас с Машей последней каплей. Мы решили уехать из Союза. Уехать, чтобы сохранить произведения, иначе они могли здесь просто пропасть — безумная практика неожиданных обысков продолжалась аж до 80-х годов — в каких-то унитазах всё ещё искали какие-то стихи какой-то поэтессы, в духе Ахматовой… Таковы были сюрреальные картины советского космоса.

Итак, решение было принято. Ясное дело, за ним, помимо указанных выше обстоятельств, стояло и естественное желание повидать мир. Стоит он того или нет — другой вопрос. Уехать по диссидентскому «каналу» для нас особого труда не составляло — ведь мы были диссидентами. Если бы какой-нибудь человек с улицы пришёл и сказал: «Я хочу уехать из СССР», у него сразу возникли бы большие неприятности. Но мы в этом отношении были на хорошем счету, и заявления на выезд из страны от людей нашего плана только приветствовались. «Уезжайте с Богом!» И, как известно, этим диссидентским «каналом» воспользовались многие, в том числе политики. В конце концов уехали Буковский, Солженицын, Синявский — «диссидентский» и параллельный еврейский «каналы» были наводнены инакомыслящими.



Отъезд

Слух о нашем с Машей отъезде был принят по-разному. Некоторые столичные дамы из изысканных кругов нонконформистского мира, жёны художников, говорили так:

— Что? Юрочка уезжает на Запад? Да он там пропадёт, на этом холодном Западе. Ему бы сидеть где-нибудь на дачке, да под кусточком, с водочкой и томиком Блока, а не пускаться в подобные авантюры.

Реакция близких друзей была, конечно, иная. Как я уже говорил, Женя Головин тоже хотел уехать, ведь он был большой поклонник западной маргинальной поэзии, но здравый смысл и Белый Тигр победили — он остался. И когда я пришёл к нему прощаться с ним и с Белым Тигром, мы просто простились — не навсегда, но формально как будто бы навсегда, потому что советская власть устроилась очень прочно. Но внутреннее ощущение было такое, что мы ещё увидимся.

Простившись с Женей, я поехал восстановить связь с Алексеем Смирновым на его дачу под Москвой. Он обложился семейством, чувствовал себя очень хорошо и никуда уезжать не собирался…

С Ковенацким Володей я проститься не смог, потому что он тоже отдалился от нашего круга, но по другой причине, чем Смир-

нов, который хотел обособиться и вести сугубо эстетскую, благополучную и в то же время мистическую жизнь. У Ковенацкого была другая ситуация — он попал под влияние каких-то людей, которые, может быть, пообещали ему золотые горы за его замечательные произведения… В общем, он прекратил общение с нашим миром. Больше я его не видел; когда я вернулся из эмиграции, он уже покинул этот мир.

Конечно, мы с Машей навестили Провоторова, но там всё было спокойно. Он не то чтобы одобрял мой отъезд, но считал его вполне адекватным, потому что писатель должен же быть всё-таки опубликован при жизни, да и посмотреть этот безумный, безумный, безумный мир было бы интересно. Мы провели хороший дружеский вечер, и на этом расстались.

Как ни странно, я не могу восстановить в памяти обстановку, в которой мы простились с Дариком, но какой-то глубокий смысл был заложен в этом прощании, потому что я чувствовал, что он уже идёт по какому-то своему, особому пути, в чём-то близкому мне, но в чём-то и очень отдалённому, и ему, видимо, предстоит ещё открыться в этом отношении. Так оно и произошло в будущем, когда я уже уехал.

Было организовано общее прощание на какой-то большой квартире, куда каждый мог прийти и проститься. Для этого там была выделена маленькая комнатка, где я принимал всех желающих. Это было уже непосредственно перед вылетом в Австрию (именно в Австрии был пункт приёма инакомыслящих, откуда дальше все распределялись — кто в Израиль, кто в Америку. Еврейская эмиграция, как правило, в Израиль, диссиденты — в США. Но иногда и в другие страны). Этот прощальный вечер был наводнён публикой, причём было много незнакомых людей; как оказалось, они были моими горячими поклонниками, читали мои произведения в самиздате или просто слышали — были на моих чтениях или ка-

ким-то ещё образом, но они представились, а я их не узнал; в общем, слухами Москва полнилась. И было бы ещё больше народу, но как впоследствии выяснилось, некоторые просто побоялись прийти; мало ли что — уезжает весьма известный в неконформистской среде человек — как бы чего не вышло. И тем не менее людей было очень много; я не мог со всеми уединяться, тем более, многих я не знал. С кем-то удалось поговорить наедине… Но я бы не сказал, что из этого получилась исповедь или нечто сакральное; в конце концов я просто страшно устал. В итоге было обычное прощание; при этом что-то напряжённое, тревожное висело над всеми, какое-то ощущение неизвестности…

А с близкими друзьями мы прощались ещё до этого большого вечера, в уютной, тёплой, камерной обстановке. Некоторые считали, что я обязательно вернусь, таково, в частности, было мнение Ларисы Пятницкой. Другие, в их числе Римма Заневская, восклицали:

— Юрочка, мы больше никогда не увидимся, никогда!

Но большинство находилось во власти противоречия — вроде уезжает навсегда (формально это было так), но не может же быть, чтобы навсегда, как это так — Юрочка исчез, отец родной… Это немыслимо! Куда он денется, приедет.

Но вечера вечерами. Передо мной стояла проблема поважнее — как переправить тексты. В романе «Московский гамбит» я довольно подробно описал историю с персонажем по фамилии Муромцев. Это не был я, но ситуация была похожей. Там описано, как по многим московским квартирам этот герой прячет свои произведения, но это одно дело, а переправить — совсем другое. Но всё-таки, как оказалось, это было не так уж и сложно — и по полулегальным каналам, через художников, и был даже легальный канал — голландское посольство. В общем, дело уладилось. Конечно, я предусмотрительно использовал 2–3 канала.

Между тем мы с Машей чувствовали, что эта жизнь словно закончилась, начинается новая, но будут ли они, эти две жизни, связаны между собой — это вопрос... Было ощущение разрыва с целым миром, когда из-за деспотизма власти просто невозможно было продолжать существование в родной стране, потому что всё то, что я любил там, — это необыкновенное общение, этот необыкновенный народ, эти встречи с совершенно небывалыми, чудесными людьми, о которых на Западе говорили, что таких людей не бывает, — всё это как-то исчерпалось, что ли... Это имело продолжение в 70-е годы «под моей тенью», по выражению Жени Головина. Я существовал там в виде самиздата и, главным образом, среди знавших меня людей, среди южинцев... Но для нас с Машей как-то всё оборвалось... Нужно было начинать новую жизнь. Оценка того, что такое Советский Союз на самом деле и что вообще происходит в мире, появилась только со временем, в эмиграции, потому что, как говорится, большое видится на расстоянии. Советский Союз и Россия виделись уже совершенно иначе, когда мы стали жить за границей. Об этом я собираюсь рассказать во второй части книги, посвящённой непосредственно эмиграции.

Уезжали мы, храня в душе ту единственно великую, дореволюционную, историческую Россию. Она присутствовала всегда — как внутренняя жизнь людей, как великая литература, как православие. И эта подлинная Россия, которая была до советской власти и при ней, не могла не быть всё время с нами, не могла не присутствовать в нашей душе, когда мы были в отрыве от родины, поскольку мы — представители этой России, исторической России, мы жили теми ценностями, которые выработала великая Россия на протяжении тысячелетий своего существования, а ведь была ещё и доисторическая Россия, которую мало кто знает, и только теперь начинают раскрываться её черты... Но об этом потом.

Напоследок нам хотелось, чтобы Женя Головин спел свои потрясающие песни, почитал стихи по-французски. Но такой вечер, увы, не состоялся.

...Иногда в период отъезда передо мной мелькали образы детства, особенно школьных лет. И когда я вспоминал всё это, у меня возникало ощущение, что даже в сталинскую эпоху, в которую мне тоже довелось жить (это были мои школьные годы и половина институтских), существовала не только официальная культура, в которой, безусловно, было много интересного; я помню, что чувствовал, что у школьников того времени что-то такое цвело и бурлило, что выразилось потом, уже в 60-е, более свободные по сравнению со сталинскими, годы в их творчестве. Я вспоминал, например, Юру Баранова... Ныне он поэт, член Союза писателей. Мне вспомнились его ранние сюрреалистические стихи про лежание на печке в золотых лаптях...

И вот настало время улетать. Шла осень 1974 года. Наш «улёт» непосредственно совпал с «улётом» Эдика Лимонова — вместе с ним и с его женой, прекрасной Еленой, мы вылетели в Вену. Вместе с нами летел друг Лимонова Вагрич Бахчанян, который раньше работал в «Литературной газете». Тоже с женой. И отъезд был символичен в каком плане: Бахчанян вылетел сначала, а Лимонов и мы, по-моему, попозже. Бахчанян попросил нас привезти ему в Америку своего любимого кота, которого он оставил в Москве. И в самый последний момент, в день отлёта, когда надо было буквально лететь на машине в аэропорт, кот потерялся, его искали, искали, неудобно было прилетать без кота, потому что Бахчанян — друг Лимонова и вообще хороший человек, и можно было не попасть в аэропорт... Суета страшная... Всё уже было готово... И вдруг, в последнюю минуту, кот важно вышел из шкафа. Прятался в шкафу — и вдруг вышел. Кота, таким образом, взяли, и он полетел в Америку.

Лимонов тоже решился на отъезд со своей Леночкой, причины у него были, в общем, те же самые, публикация его поэзии и социальная реализация его как поэта невозможны были в Советском Союзе, хотя он ни о какой политике тогда не писал, у него были прекрасные стихи… Ну и что делать, он тоже летел вместе с нами, и мы вместе попали в Вену. Маша тогда дружила с Леной, да и у нас с Лимоновым были дружеские отношения. Начиналась новая жизнь.



Часть вторая. Эмиграция



Вена

Через два с лишним часа полёта мы с Машей оказались в другом мире. Первые впечатления были ошеломляющие, тем более мы впервые оказались на Западе. Вена развернулась перед нами как музей старой Европы. Имперская архитектура, уют маленьких переулков, и словно дух Средневековья витал здесь. Австрия была нейтральной страной, и складывалось впечатление, что она какой-то своей частью застыла в XIX веке. Европа за пределами Австрии, как оказалось, была другой.

Поскольку мы были русскими, то нас принял в свои объятия Толстовский фонд. Толстовский фонд расположен в Америке, и его задача — заниматься эмигрантами вроде нас (в основном русскими) — помогать им устроиться и тому подобное. Условия жизни в Вене были нормальные; конечно, не шикарные, да этого и нелепо было бы ожидать. Мы остановились в гостинице «Адмирал», расположенной в центре города в старом здании, которых много в Вене. Там была очаровательная хозяйка-австрийка, было очень уютно, и даже кухня была — можно было самим готовить себе еду, по-домашнему. В этой же гостинице расположился приехавший из Петербурга литературовед Леонид Чертков, который за «антисоветскую пропаганду» отмотал небольшой срок в лагере. Это был образованный, прекрасный человек.

Начали мы со знакомства с Веной. Узрели её прекрасные дворцы, музеи, живопись эпохи Возрождения (в Вене находится одна из богатейших коллекций европейской живописи); в общем, у нас получилось живое знакомство с классикой, которую мы знали только по книгам. Нам понравился этот город с его тихими переулками, уютными кафе, обстановка которых располагала к беседе и отдыху. Всё вокруг было окутано атмосферой спокойствия — ни истерики, ни запретов, ни холодной войны.

Наряду с этим у нас состоялось знакомство с нашей белой эмиграцией — с достойными и образованными людьми, которые ещё были живы. Нас почему-то сразу приняли на самом высоком уровне, хотя я был не известен как писатель. Я, конечно, говорил, что я гонимый писатель, но этого всё-таки было недостаточно… Тем не менее русские эмигранты принимали нас очень тепло.

Одним из прекраснейших людей, с которым нам довелось познакомиться, был Николай Иванович Раевский. Он, разумеется, был дворянского происхождения. И он был дипломатом, атташе по культуре во французском посольстве и имел французское гражданство. Белая эмиграция всегда была ориентирована в сторону Франции; глубокие и крепкие связи на этой почве установились ещё в XIX веке.

Раевский жил в великолепной квартире, скорее напоминающей музей, и сам, неторопливый, сосредоточенный, он походил на рефлексирующего русского барина, пожившего, однако, на Западе и хлебнувшего в своё время немало горя. Он рассказал нам историю своей жизни.

Когда он оказался в Париже, с ним случилось несчастье. По какой-то причине он порвал с человеком, от которого зависело на тот момент его материальное благополучие, и, как и многие эмигранты, остался совершенно обездоленным, брошенным в хаос жизни после Первой Мировой войны, этой страшной бойни. И, не имея ни средств к существованию, ни крыши над головой, ничего

вообще, он в полузабытьи бродил по Парижу и в какой-то момент оказался возле моста через Сену. Видимо, аура этого места привлекла его. Дело было уже к ночи; он стоял, облокотившись, глядел в воду, и постепенно в нём зрело решение покончить со всем, броситься в эту мутную реку. И вдруг он увидел человека. Он не придал этому особого значения, но человек приближался именно к нему и, подойдя, вдруг спросил:

— Вы нуждаетесь *в этом*? — и вынул из кармана большую пачку денег, как в сказке или в святочных рассказах Диккенса.

Николай Раевский, молодой тогда, что-то ответил, развёл руками, а незнакомец улыбнулся и вручил ему эти деньги. Это была очень большая сумма, и это спасло ему жизнь, потому что тогда в Европе не было никакого социального страхования, оно появилось только после Второй мировой войны и Великой депрессии в Америке… и очутиться без квартиры и без средств к существованию, ночевать на улицах — это было ужасно. Да и потом, никакая страховка не смогла бы это покрыть.

Но Николай Иванович Раевский не стал терять времени даром, не стал плыть по течению. Придя в себя, он избрал единственный путь, который был возможен для многих эмигрантов в то время, — вступил в так называемый Иностранный легион и отправился воевать в Африку. И вот, пройдя этот нелёгкий путь, он получил французское гражданство. Он был образован, идеально владел французским языком и в конце концов добился в глазах французских граждан такого признания, что стал дипломатом — представителем Франции по культуре. Русский дворянин стал представлять французскую культуру.

Это была одна из самых тёплых и необычных встреч с нашими соотечественниками за границей.

Потом были встречи с другими представителями русского дворянства — среди них были две замечательные семьи — Дерю-

гиных и Разумовских. Семья Разумовских очень известна в среде эмигрантов, она переехала во Францию ещё во времена Российской империи и сохранила русскую культуру, язык, сам дух русской жизни. В Австрии есть даже улица Разумовских. Эти семьи были преданы России и, конечно, русской вере. Маше особенно понравилось в доме Дерюгиных — он был буквально пронизан духом православия, и ей было хорошо и интересно с этими людьми.

В Вене был храм Николая Чудотворца, а в эмиграции православная церковь — это русский светоч; это был символ подлинной, если угодно, невидимой России; той России, которую мы хранили в наших душах.

Однако не стоит забывать, что мы были всего лишь диссидентами, чей путь лежал в США. Дело в том, что интуитивно мы хотели попасть во Францию, а не в Америку. Мы были во французском посольстве, но Франция официально не принимала эмигрантов. Только в особых случаях. У нас не было никакой зацепки, но тянуло нас, как и многих русских интеллигентов, именно во Францию. Увы, попасть в эту страну для эмигранта считалось исключительной удачей.

Но знакомство с австрийскими интеллектуалами состоялось. Первым из них был президент австрийского ПЕН-клуба, писатель Рейнгард Федерман. Это был очень чуткий и глубокий человек, человек настоящей европейской культуры, увы, исчезающей. Я представился ему как писатель самиздата. Он отнёсся ко мне с большим участием. Федерман издавал литературный журнал Pestsaule, и я сразу же передал ему два своих рассказа. Они были мгновенно переведены на немецкий язык и вызвали бурю восторгов даже среди наборщиков. Федерман оценил их очень высоко и сразу почувствовал, какого толка я писатель. Некоторые интеллектуалы уговаривали нас остаться в Австрии; теоретически это было возможно, однако эти предложения были некоторой неожиданностью для нас, поскольку мы уже серьёзно настроились на США.

Федерман часто приглашал нас в гости. Маша, кстати, владела немецким языком (это был её школьный язык), и поэтому нам было легко общаться не только с Федерманом, но и с людьми на улицах. У нас быстро установились не только литературные, но и тёплые отношения с президентом австрийского ПЕН-клуба. Два упомянутых рассказа — это была моя первая настоящая публикация. На немецком. В Союзе был только самиздат. Но самиздат самиздатом, а публикация — это фиксация творчества на социальном уровне, так что я был очень доволен и благодарен Федерману, и настроение у нас с Машей в Вене было весьма приподнятое. И кроме того, были прогулки по великим музеям, дворцам, и куча знакомых — местные русские, австрийцы… А ещё был литературовед Чертков, которому я показывал свои рукописи. Он в них очень углублялся.

Почти одновременно с нами в Вену прилетел Эдик Лимонов вместе со своей очаровательной Леночкой. Мы дружили, но проживали в разных гостиницах. Лимонов тогда был ещё поэтом — то есть о какой-то революционной борьбе пока речи не шло. Леночка его дружила с Машей, они прекрасно общались и ходили вместе по магазинам. Мы с Лимоновым сидели по кафешкам, пили австрийское пиво с венскими сосисками и тоже прекрасно общались. В общем, жизнь была многослойная.

Но с Лимоновым, к сожалению, пришлось временно расставаться, потому что они с Леночкой полетели в Америку через Рим. Надо сказать, что все мы провели в Вене почти полгода, и пока тянулось оформление, туда-сюда, как говорится, наши пути немного разошлись — чета Лимоновых отправилась в Рим, чтобы оттуда лететь в Америку, литературовед Чертков принял решение остаться в Вене, потому что Венский университет пригласил его на должность преподавателя русской литературы. Он решил не испытывать судьбу и остаться в тихой гавани Вены, вне мировых бурь и истерии мира сего, охватившей весь XX век. Кажется, он нашёл своё место.

Наши контакты с белой эмиграцией продолжались; они продолжались и впоследствии, в Соединённых Штатах, во Франции, и надо сказать, что это было очень волнующее и интересное явление. Мы восхищались этими людьми. Они же к нам относились иногда даже настороженно… В общем, по-разному; это зависело от людей. Но их настороженность была связана с тем, что они не были уверены, полностью ли мы свободны от советского мышления, от советских стереотипов. Но с нами-то было всё в порядке; мы с Машей, ещё живя в Союзе, были совершенно свободны от штампов советской идеологии. Некоторые истории из жизни белой эмиграции задели нас за живое. Раевский, например, рассказывал такой случай: будучи ещё молодым, он вместе со своими соотечественниками, тоже молодыми эмигрантами, сидел в каком-то парижском кафе. Уже собираясь уходить, они зашли в туалет, и там Раевский увидел пожилую женщину, моющую пол. Раевский подошёл к ней и поцеловал ей руку. Молодые люди из его компании были чрезвычайно удивлены: «Ну, знаете ли… вы… это уж слишком. Ваш жест слишком экстравагантен», на что Раевский ответил: «А вы знаете, кто она? Это графиня такая-то».

Проведя полгода в Вене, мы в неё влюбились. Влюбились в её тишину, в её уют, в её ауру XIX столетия… Но так или иначе, пора было в путь, и, вообще говоря, нам всё-таки хотелось жить жизнью не XIX, а XX века — этими бурями, этим безумием его; мы жаждали окунуться в сугубо современный ритм жизни. Это гарантированно можно было сделать в Соединённых Штатах, но, кроме того, и в Европе – единственно, только в центральной, например, в Германии или во Франции. Однако наш путь лежал в мировой финансовый центр — Нью-Йорк.



Америка

Зимой 1974-го, буквально накануне Нового года, мы, пройдя все необходимые проверки, на огромном самолёте вылетели в Соединённые Штаты Америки. Полёт продолжался часов девять; он был довольно нудный, утомительный. Настроение у нас с Машей было неплохое, но чувствовалось какое-то напряжение. Мне запомнилась картина: по просторному салону авиалайнера мимо нас туда-сюда ходил американский пастор. Это был толстый весёлый мужик с крайне светскими ухватками. Он непрестанно улыбался, и, проходя мимо сидящих, хлопал всех по плечу и при этом хохотал. Хлопок достался и мне. Маша, помню, возмутилась чрезмерно весёлым настроением этого духовного лица. В глазках пастора играл задорный огонёк. А огромный самолёт летел через океан. Тут мне вспомнилось одно пророчество. Это было, если не ошибаюсь, пророчество из Индии, написанное на санскрите задолго до Рождества Христова. Оно гласило, что придёт время, когда люди будут летать на железных птицах, но дела их будут злы, и они отойдут от веры. Я подумал, что это пророчество попало в точку, особенно если иметь в виду ситуацию современного мира.

Хоть и нудно, но скоро прошли эти девять часов, и наш самолёт приземлился в Соединённых Штатах Америки. Лимонов прибыл туда, в Нью-Йорк, почти в одно время с нами. Кроме нас с Ма-

шей и Лимонова, в Америке оказался также замечательный поэт Генрих Худяков, который был лично знаком с Пастернаком. Пастернак одобрил и благословил его талант, но советский идеологический идиотизм мешал ему публиковать свои отнюдь не политические стихи. Худяков оказался в эмиграции совершенным отшельником. Он всегда был один.

Кроме того, в нашей компании диссидентов был упомянутый Вагрич Бахчанян, остроумный журналист и бывший сотрудник «Литературной газеты», с женой, и ещё куда-то в сторону, в Вашингтон, занесло писателя Аркадия Ровнера, тоже с супругой. Все мы попали «под крышу» Толстовского фонда, который должен был содержать нас, пока мы не найдём работу, и которым в то время заведовала Александра Толстая, дочь великого гения.

Мы, диссиденты, конечно, объединились, потому что знали друг друга до эмиграции; я имею в виду Лимонова, Бахчаняна, Худякова, Леночку, которая была неплохой поэтессой. Нас с Машей, как и всех, разместили в гостинице. Мы сразу решили прогуляться, познакомиться с городом.

Впечатление от Нью-Йорка было апокалиптическое, но в меру. Впечатление усилилось дикими контрастами — с одной стороны, богатые районы, с красивейшими небоскрёбами, но стоило оказаться в соседнем квартале, и сразу перед глазами вставали тёмные, запущенные улочки.

По пути назад, к отелю, мы вдруг увидели сумасшедших. То, что они сумасшедшие, мы узнали потом. Они стояли в застывших позах, растянувшись в цепочку, одетые в какие-то полухалаты, что-то вроде мешков, и неподвижно смотрели вперёд. Мне был непонятен их взгляд, направленный в пустоту. Вид у них был довольно жуткий… А вокруг из канализационных люков поднимался пар, и это добавляло призрачности и тягостной фантастичности окружающему. Это впечатляло.

Придя в номер, мы включили телевизор и сразу попали на мастерски сделанный фильм о мертвецах. Актёры были замечательные — они настолько вжились в роль мертвецов, что сами стали мертвецами. Это даже пугало, и Маша довольно эмоционально отреагировала на этот фильм — она потребовала даже выключить телевизор, когда все эти товарищи с кладбища направились к живым людям. Таким образом, при первой встрече Америка сразу предъявила нам свой главный козырь — кино.

В Америке сразу завертелась жизнь, которая была наполнена надеждами и огромными опасениями, потому что нам необходимо было искать работу, как-то устраиваться. Наши первые дни здесь прошли под знаком взбудораженности. Когда мы выходили на улицы Нью-Йорка, у нас возникало ощущение, что мы находимся в диком лесу — это очень будировало инстинкт самосохранения: ты попал в этот мир, и только от тебя зависят твои жизнь и смерть. Свобода джунглей, одним словом. Это было совершенно поразительное ощущение, особенно для неподготовленного человека, хотя мы уже были предупреждены о некоторых особенностях американской жизни. Дело в том, что буквально накануне у нас была встреча с сотрудником Толстовского фонда. Несмотря на то, что он говорил по-русски, он был американцем, и он предупредил нас, что в Америке каждый сам за себя.

— That’s your business, — сказал он. — Это свободная страна.

Мы были несколько шокированы, а этот человек добавил:

— Я поздравляю вас с тем, что вы выбрали свободу.

Ну, что ж, свобода так свобода. Когда мы после этого разговора вышли на улицу, эта свобода ощущалась как если не демоническое, то, по крайней мере, биологическое напряжение. Просто вот ты попал сюда, и ты должен победить — в смысле выжить. Повсюду была реклама, которая орала: «Наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся!» Около каждого ерундового заведения, полупивной, полу ещё

Бог знает чего, сверкали эти слова. Потом мы вышли на Бродвей, где с одной стороны была цепь порнографических кинотеатров, а с другой — цепь кинотеатров ужасов. Мы с Машей выбрали ужасы, но эти ужасы были, надо сказать, дебильные, в отличие от фильма, увиденного нами по телевидению. Они были очень искусственные, хотя и физиологически отвратительные. Мы ушли.

***

Итак, началась наша американская жизнь. Эдик Лимонов довольно активно взялся за нашу литературную реализацию, но проблема была в том, что в Америке о нас никто не слышал, даже о Лимонове, хотя он был более активен. Конечно, профессора славистики знали о нас, но… В общем, мы оказались в мире, который надо было завоёвывать.

Начали мы с того (мы — это я, Лимонов, Леночка, Худяков и Бахчинян), что составили литературную декларацию, что-де мы добровольные изгнанники из Советского Союза по причине отсутствия свободы творчества, после чего разослали по американским издательствам свои произведения. Это был очень сложный процесс. Наряду с этим я предложил одному очень хорошему издательству роман «Шатуны». И реакция на это произведение была совершенно для меня неожиданной. Нам передали внутреннюю рецензию (у меня сохранилась копия), в которой говорилось, что, мол, нет никаких сомнений в исключительности таланта Мамлеева, но мир не готов к этой книге. Такова была основная идея. Раскрывая её, автор рецензии писал, что эта книга в данное время не может быть опубликована, потому что она окажет тягостное впечатление на американскую интеллигенцию именно в психологическом ключе — совсем не нужно показывать, что современный человек попал в некий жуткий лабиринт, из которого не находится выход. Кроме того, в «Шатунах» не было никакой социальщины и антисоветчины, что тоже было не

в их пользу, потому что, конечно, политический аспект всегда был на первом месте — от нас хотели, чтобы мы ругали свою родину на чём свет стоит, причём не только политический строй, но и страну в целом; это было самое желательное. Этот отказ меня обрадовал по двум причинам: а) признавали исключительность моего таланта и б) признавали, что мир не готов к такой книге. Заключение редактора было даже такое: «Я не хотел бы жить в мире, который был бы готов к этой книге». Вот такие приятные новости.

Между тем наша декларация застряла; мы везде получали от ворот поворот, и в итоге оказались в некоем вакууме — шансы, что нас опубликуют на английском языке, сводились к нулю. Возникал вопрос: что делать? Толстовский фонд мог «содержать» нас самое большее — год. Дальше два выхода: первый — найти работу, второй — оказаться на дне, среди тех сумасшедших. Это означало получать велфер — пособие не то что для безработных, а для людей, которые по тем или иным причинам не имеют возможности работать (для американца, с психологической точки зрения, это был конец). Размер этого пособия был достаточным, чтобы жить, но, конечно, это была бы катастрофа. Хотя многие устраивались таким образом и особо не горевали, потому что русский, как дух, «веет, где хочет». Главное для него то, чем наполнена его жизнь, а не то, сколько он получает. И тем не менее нам было очень тревожно, потому что оказаться вообще вне социума — это та ещё эмиграция. Утешением и примером для нас была великая белая эмиграция, представители которой часто оказывались в крайне тяжёлом положении, но мужественно переносили трудности и находили выход.

На что нам нужно было обратить внимание? На возможность разослать по университетам свои резюме — обычный ход для получения работы. Мы с Эдиком Лимоновым имели возможность работать в университетах по своему статусу. Резюме мы разослали огромное количество. Теперь оставалось ждать. И тут подверну-

лись облегчающие моменты. Пришло письмо из Австрии от Федермана, в котором он писал, обращаясь к американскому ПЕН-клубу, что Мамлеев — очень талантливый писатель из России и что его уже перевели на немецкий язык... Это письмо было мощной рекомендацией, поскольку Федерман был известным и уважаемым в литературных кругах Запада человеком. Американский ПЕН-клуб принял меня. У Эдика такой рекомендации не было, учитывая, что перевод стихов — дело почти невозможное. Таким образом, мы пошли разными путями: я — через ПЕН-клуб и университеты, а Эдик — сразу к Иосифу Бродскому.

Бродский в то время уже пользовался известностью в литературных кругах. Как мне рассказал Эдик, он дал Бродскому прочесть томик своих стихов «Русское». Разумеется, тот оценил эту поэзию высоко; почему-то в ней ему увиделась школа Хлебникова. И, как мне дальше рассказал Лимонов, Иосиф с горечью произнёс:

— Не могу понять, что ты делаешь здесь с такими стихами? Здесь поэзия — хобби.

Последнее замечание, правда, сделал уже не Бродский, а один американский поэт, который работал в Корнельском университете.

Сам я встречался с Бродским раза два, не больше, и оба раза в пределах университета. Первая встреча была поэтической, дружеской и приятной. Под конец я направил беседу в русло метафизики, Индии и прочего. Бродский довольно резко сказал, что в таких делах не сечёт. На второй встрече помимо нас с Бродским присутствовал ещё профессор Корнельского университета, тоже эмигрант, мрачный, но приятный человек. Помню, Иосиф сказал, что его самым любимым поэтом всегда была Цветаева. Он выделял её из классиков XX века и очень высоко ценил её творчество.

Что касается Эдика, то Бродский, разумеется, обещал помочь ему и сдержал слово. Была только одна возможность опубликовать поэзию — в издательстве «Ардис», которое возглавлял про-

фессор Карл Проффер. Книга была напечатана, но большого успеха Эдику это не дало. Ну, да, хорошие стихи, ну, да, прочли русские, прочли профессора, но в антипоэтическое время второй половины двадцатого столетия пытаться осуществить какой-то прорыв путём поэзии — полное безумие. Книга вышла; это сделало её автору имя в среде русской эмиграции, его стали приглашать на конференции, но социально это ничего ему не дало.

У нас с Машей ситуация на тот момент была получше, поскольку американский ПЕН-клуб весьма положительно отреагировал на письмо из Австрии. Мы, конечно, не могли претендовать на то, чтобы я сразу стал его членом — для этого, во-первых, необходимо было опубликовать книгу на английском языке, а во-вторых (и это главное), нужно было, чтобы эту книгу оценили, потому что писателей много, но не каждый из них — член ПЕН-клуба. Президент ПЕН-клуба очень тепло, по-человечески к нам отнеслась и посоветовала несколько издательств, в которые можно обратиться. Кроме того, мы познакомились с замечательным и очень интересным американцем ирландского происхождения Джорджем Риви. Вообще, русские интеллектуалы прекрасно сходились именно с представителями кельтских народов — с шотландцами, например, но особенно – с ирландцами. Они оказывались близки нам по духу — ведь кельты в своё время были соседями славян... Джордж Риви был интеллигентом иррационального плана, очень образованным и к тому же пьющим человеком. Мы с ним сразу стали сидеть во всевозможных американских заведениях питейного толка. Он был лично знаком с крупнейшими ирландскими писателями, в том числе и с Джойсом; в общем, всё немножко закрутилось, и стало как-то веселей.

Дальнейшая наша судьба развивалась таким образом. Маша устроилась работать в газету «Новое русское слово». Это была очень известная газета в русскоязычном мире, её редактором был Андрей Седых, бывший в своё время секретарём Бунина.

Историю Лимонова, известную, в частности, по его книге «Это я, Эдичка», я пересказывать не собираюсь. Но если вкратце, то суть заключалась в том, что он написал для газеты неполиткорректную статью и принципиально не захотел её переделывать. В результате он лишился работы, а через некоторое время от него ушла Лена, и это было для него самым тяжёлым потрясением. Но, повторяю, всё это описано в его книге, и я больше не хочу касаться этой темы.

Мы же с Машей всё не получали никакого ответа. С работой глухо, с публикациями тоже. Юрий Павлович Иваск, известный в эмиграции поэт, который преподавал в одном из американских университетов, ещё до своего ухода из этой жизни говорил нам, что на его место будут претендовать, наверное, человек сто двадцать хороших славистов. Но мы не унывали. Меня очень здорово поддерживала Маша. В ней было невероятно много энергии, она не сдавалась и проявляла такую женскую мудрость, такую силу и такое спокойствие, что у меня просто нет слов. Без неё я, может быть, пропал бы в Америке... И вдруг пришёл ответ на резюме. Ни больше ни меньше — из Корнельского университета, одного из лучших в Америке. В письме сообщалось, что глава славянского отделения, профессор Джордж Гибиан, приглашает меня на собеседование в город Итаку, что на севере штата Нью-Йорк. Мы немедленно отправились туда, и после непродолжительного интервью я был принят на работу в Корнельский университет в качестве преподавателя русской литературы. Я прочитал там один курс, потом разъезжал по другим университетам с разными лекциями, а Маша устроилась работать в библиотеку университета.

Это была исключительная удача, а всё дело было в том, что Джордж Гибиан часто посещал СССР; он был прекрасно знаком с нашими писателями, в частности с Юрием Нагибиным, прочитал в самиздате несколько моих рассказов, и они произвели на не-

го такое впечатление, что он принял меня на работу. Таким образом, причиной успеха стала литература.

Мы перебрались из Нью-Йорка в Итаку, и началась совсем другая жизнь — мы наконец-то устроились в социальном смысле, и стали жить, как американцы среднего класса — у нас были коттедж, машина, ну и так далее. С литературой было сложнее, поскольку гибианов в США было немного. Однако университетская жизнь была полна самыми разными возможностями и встречами со знаменитыми людьми. Благодаря тому, что я уже был включён в социальную жизнь Соединённых Штатов, нью-йоркское издательство Taplinger взяло на рассмотрение «Шатунов» и в итоге решило опубликовать. То был переломный период. Но, прежде чем рассказать об этой публикации, а потом и о наших поездках в Париж, хочу упомянуть о двух обстоятельствах, которые также довольно сильно повлияли на нашу жизнь.

Мне необходимо было понять, чего, собственно, хотят от нас американцы, почему они нас пригласили. В это время как раз Солженицын произнёс свою знаменитую речь в Гарвардском университете. Я видел её по телевизору, и она была совершенно неприемлема для Америки. И вовсе не потому, что она не была антикоммунистической; как раз совсем наоборот — антикоммунизма в ней было выше крыши. Дело было в позиции Солженицына — религиозной и прославляющей не только дореволюционную Россию, но и вообще Святую Русь как таковую. Для американской аудитории это было всё равно, что выпить бочку яда... Я хорошо помню эти каменные лица — не сказать, что исполненные такой уж ненависти, но глубина отчуждения поражала. Вышло так, что американцы хотели сначала сделать Александра Исаевича почётным гражданином США за его глубокий антикоммунизм, а в итоге поставили ему на лбу страшное для эмигранта клеймо: «Он любит Россию». Под Россией подразумевалась не советская власть, а Рос-

сия вообще, Россия историческая. Об этом не говорилось прямо, но любить Россию считалось одним из самых страшных преступлений, этого не прощали.

Увидеть, каково было отношение Соединённых Штатов к нашей стране в политическом смысле, чего они хотели от нас и от России, не составляло труда — я к тому времени уже овладел английским языком, и надо было быть идиотом, чтобы в эмигрантской прессе, да и в собственно американской не увидеть, в чём заключалось дело. Можно написать целый труд о том, что собой представляет Америка, но это не тема данной книги, да и я не социолог. Для меня был важен самый существенный момент, который мы с Машей сразу почувствовали — это то, что и в официальной эмиграции, и, главное, в американской политике была совершенно чётко проведённая линия, а именно, что не только коммунистический строй является злом — злом является сама Россия. Ясно и просто. Было совершенно очевидно, что ведётся холодная война не только против коммунизма, но и против России как таковой. Для нас это было абсолютно неприемлемо… С моей точки зрения, это было чудовищно. Да, мы были диссидентами, но мы никогда не были врагами своей Родины; мы хотели спастись от политического гнёта, который, главным образом, выражался в преследовании религии и в отсутствии свободы творчества. Да, мы уехали, чтобы реализоваться, но мы оставались русскими, и Россия жила в наших душах, текла в наших жилах. В итоге мы решили просто не принимать участия в политических шабашах того времени. Меня приглашали на радио «Свобода», но я говорил только о литературе… Помню (правда, это было уже в Париже), кто-то из сотрудников «Свободы» был так возмущён тем, что я ни слова не говорю о политике, что не выдержал: «Вы всё время говорите о поэзии, о Цветаевой, о Блоке, но вы поймите, что «Свобода» — это политическая радиостанция». Мне было ясно, что от меня требовалось, и я отделывался пустыми словами.

Дело не в том, что в американской прессе, тем более в пропагандистских органах, было много лжи о Советском Союзе. Там было и много правды о нашей стране. Всё дело было в том, *как* подавалась эта правда. А подавалась она отнюдь не с добрым намерением указать на негативные стороны, дабы помочь исправить ситуацию. Цель этой правды была очевидна — провокационным путём ослабить Россию. Для нас такое положение вещей было, конечно, шоком, потому что одно дело выступать против политического строя, а другое — против страны, против своей Родины... Ну, и конечно, встал вопрос о ностальгии. В статье «Русская идея здесь и сейчас» я описал многое из того, что мы тогда чувствовали.

Вместе с тем жизнь была интересной, потому что познавать новый мир — это во всяком случае занимательно, хотя, может быть, в чём-то и болезненно. Кстати, в пользу американской прессы надо сказать, что некоторые газеты — не право-оголтелого, а чисто либерального толка (хотя либерализм на Западе считается крайне правым явлением) — писали о том, что в развитии и наступлении холодной войны, которая являлась чумой для человечества и могла перерасти в ядерную катастрофу, был виноват не только Советский Союз, но и Соединённые Штаты Америки тоже. Вспомним речь Черчилля. Наряду с официальной линией были и другие мнения. В Итаке, недалеко от нас, жил простой американец, квалифицированный, но рабочий... Обычно он работал по две смены, потом приходил домой, выпивал виски, смотрел телевизор, падал на пол — это был его обычный путь. С утра он вставал как ни в чём не бывало, бодрый, без тени негатива, потому что на работу надо являться здоровым и активным, иначе попадёшь в чёрный список, и тебя уволят. С этим человеком у нас как-то состоялся разговор. Он сказал следующее:

— Я просто поражаюсь — чего мы ссоримся с русскими? Мы живём на разных континентах; каждый на своём. Я — простой

человек; какие претензии у меня могут быть к Советскому Союзу? И какой русский рабочий может иметь претензии к Америке? Бред! Почему нельзя жить нормально? Я не хочу, так сказать, участвовать в каких-то бойнях и так далее.

Вот взгляд простого человека — недоумение, зачем конфликтовать со страной, которая находится совершенно в другом географическом измерении, да и вообще, невозможно же найти общий язык со всеми…

В университете мы познакомились с американскими интеллектуалами. Не все профессора были наши люди; многие из них знали только свою специальность, например, французскую литературу XVIII века, и ничего больше не знали вообще. Культура их интересовала только как средство добывания денег. Но были и другие, для которых культура была, как она и должна быть, частью жизни… Пока мы устраивались в университете, произошёл целый ряд событий, которые изменили нашу жизнь, но о них речь впереди.

Что касается наших друзей-диссидентов, то Эдик Лимонов, как я уже говорил, пошёл своим путём, поэт Худяков же вообще был в трансе, но держался мужественно. Поэзия его, благословлённая Пастернаком, была никому не нужна.

— Я читаю свои стихи только тараканам, — нередко говаривал он.

Вагрич Бахчинян устроился получше — его жена где-то както подсуетилась и получила какую-то работу. Аркадий Ровнер тоже трудоустроился в Вашингтоне. Худо-бедно, но мы держались.

***

Перед тем как обосноваться в Итаке, мы внутренне и внешне простились с Нью-Йорком, хотя и не навсегда — мы рассчитывали периодически там бывать. Маша простилась с Леночкой, ушедшей от Лимонова. Леночка была красавицей, у неё было много поклон-

ников, но ни один из них не соответствовал её идеалу. Это доводило её почти до слёз. Слава Богу, потом она встретила итальянского графа, который увёз её в Рим и женился на ней.

В университете всё шло гладко — я читал лекции, Маша работала в библиотеке. У неё там было даже двое молодых американских подчинённых.

Жизнь в Итаке была, конечно, совершенно иной, нежели в Нью-Йорке.

Нью-Йорк был жесток, демоничен, по-своему красив, но красив какой-то демонической, опять же, красотой. И пребывание в нём пробуждало какую-то тёмную, хищническую энергию выживания, причём независимо от того, какой вы человек. В Итаке же был плавный, размеренный ритм жизни. Это был огромный университет, в котором работало много европейских и японских учёных, поскольку Америка скупала учёных практически во всех уголках мира, чтобы иметь научное первенство среди других стран.

Материально мы жили спокойно, насколько вообще может быть спокойно в мире конкуренции. Но главное, что нас интересовало, это, конечно, люди.

Вообще говоря, Итака была отмечена Россией. В Корнельском университете преподавал Набоков — великий русский писатель, и здесь мы познакомились с семьёй, которая хорошо его знала. Мы услышали много историй о жизни Владимира Владимировича, о его надменности и аристократизме. В частности, нам рассказали забавный эпизод, хорошо иллюстрирующий, правда, не надменность и аристократизм Набокова, а сам дух Америки: один из профессоров славянского отделения университета как-то разговорился с Набоковым о Достоевском. Набоков недолюбливал Фёдора Михайловича — ну, что ж, вольному воля. А профессор вдруг прервал его и сказал: «Не понимаю, почему мы до сих пор сидим здесь и говорим о Достоевском? Рабочий день давно закончился».

Когда мы только приехали, в университете проходил чеховский фестиваль — в течение целого года это место посещали многие известные писатели и восхищались гениальностью Чехова. И вслед за этим событием, кажется, на следующий год, начался фестиваль Набокова. Мы, в частности, услышали мнение, что «Дар» — лучший роман XX века. Кроме того, не следует забывать, что в Итаке в XIX веке жила Елена Петровна Блаватская.

Явлением, вызвавшим мой живейший и глубочайший интерес, был расположенный недалеко от Итаки ашрам Тони Дамиани. Этот человек был философом от Бога, глубоким знатоком мировых религий и метафизики. Его ашрам был одним из лучших в Соединённых Штатах, потому что в остальных подобных учреждениях царил профанический дух, и работа в них была направлена на оказание психологической помощи людям, что не является ни целью религии, ни целью метафизики. Тони же Дамиани следовал адвайта-веданте — величайшему из учений, данных миру Индией.

В его ашраме была грандиозная библиотека — не столько по количеству книг, сколько по их качеству, и там изучались все основные религии и направления метафизического порядка (в их числе, разумеется, и адвайта-веданта). Дамиани пытался обучить своих «прихожан» принципам медитации, и вот что он говорил по этому поводу:

— Увы, эти люди спят. Когда я начинаю направлять их сознание в сторону погружения в самих себя, я вижу, что они не могут этого сделать, они просто засыпают.

Однако в этом ашраме был «внутренний круг», состоящий, может быть, человек из десяти, которые обладали истинными метафизическими и богословскими знаниями. Это были серьёзные искатели, и у каждого из них был свой путь. В их числе была замечательная Ирина Антимонова, русская эмигрантка, которая произвела на меня огромное впечатление не только благодаря её зна-

ниям, но ещё и тем, как она любила Россию. Сама она была родом из Санкт-Петербурга, и в точности предсказала крах советской власти и характер этого падения, а именно, что сначала это осуществится сверху, а потом спроецируется вниз. И даже сроки были указаны в точности. И было ещё кое-что, имеющее очень важное значение для меня, но об этом как-нибудь потом.

Мы с Машей очень сдружились с этими людьми, с женой Тони Дамиани; посещали медитативные сеансы, и Маша, надо сказать, преуспела на этом поприще. Систематически она этим не занималась, но её тяга ко всему, что связано с жизнью Духа, была весьма сильна. Неслучайно, когда в университет приехали индусы (индусы есть индусы, хоть и европеизированные), бывшая среди них молодая женщина предложила:

— Маша, давайте я обучу вас медитации.

Моя жена возразила:

— Но я христианка.

Та рассмеялась и сказала:

— Религия тут ни при чём. Медитация — это метод духовной концентрации на какой-то проблеме. Мы с вами, например, будем заниматься здоровьем (Маша как раз хотела что-то поправить в плане здоровья).

И когда они начали заниматься, Маша была удивлена, насколько легко и быстро эта женщина, несмотря на свою «европеизированность», могла погружаться в состояние чистого сознания. Для неё это совершенно не составляло труда; это было заложено в ней генетически. Когда Маша попробовала её метод, она была поражена. Она ясно увидела внутренним духовным зрением то, что мы называем душой, то есть светом сознания и источником мысли, воли и высшей личности. Это было, как нечто единое, как некий свет над её головой. Всё это известно в религиозной практике, но это показало очень глубокий характер Маши в плане по-

знания разного рода явлений, связанных с духовной жизнью. Она, конечно, сосредоточилась на христианской практике.

Мы познакомились с окружением Тони — то были разные, интересные люди. Многие из них были выбиты из жизни, ибо жизнь при капитализме очень жёсткая, чтобы не сказать жестокая. И если ты, так сказать, пал, потерял работу, то это может обернуться для тебя полной катастрофой, учитывая американские «ценности». Но были там личности и другого уровня «выбитости» — они просто не признавали эту жизнь, не принимали её; они искали то, что называется «peace of mind», спокойствия души, тишины. Жизнь вокруг была настолько психологически напряжённой, что очень многие американцы шатались по ашрамам, по психологам, которые учили их утихомиривать свой беспокойный ум, дабы он не приносил страданий.

Помню, однажды мы — я, Маша и Тони Дамиани с супругой — прогуливались; был прекрасный вечер. Жена Тони сказала мне:

— Юрий, в этом мире действуют две основные силы, которые ведут между собой непрерывную борьбу. Эти силы — деньги и дух.

Я был поражён таким откровением. Конечно, Тони Дамиани так бы не сказал, но его жена была женщиной, причём женщиной очень хорошей, глубоко чувствующей драму мира сего, и она так вот сильно и по-женски эмоционально выразила это поистине страшное явление — болезнь поклонения золотому тельцу, которая поразила весь западный мир. И тем не менее — поставить на одну планку презренный металл, который после смерти человека не значит вообще ничего, просто пыль, и дух, который определяет вечную жизнь человека, — это всё равно что что сравнить яичницу с божьим даром или поэму Данте с ночным горшком. Я ещё согласился бы с противопоставлением демонической власти, которой Диавол искушал Христа, и Духа; это ещё куда ни шло, потому что

власть — это несколько иная категория, чем даже деньги. Я имею в виду чистую власть, чистую — в смысле опирающуюся исключительно на самоё себя. Но деньги и Дух — это уж слишком…

Тем не менее мы были несказанно рады знакомству с Тони Дамиани и его ашрамом. В этой среде я, по сути, выделял двух людей: Ирину Антимонову и, собственно, самого Тони. Его называли «Человек Абсолюта». Это действительно было так, потому что всё, что он делал, было в традиции адвайта-веданты, в традиции Рамана Махарши — всемирно известного величайшего мудреца Индии XX века. Возможно, Тони Дамиани получил инициацию в Индии; он был всецело устремлён к тому, что называется реализацией Абсолюта. Всё это было в точном сочетании, в точном направлении традиционализма, то есть традиции индийской метафизики. Это не было религией, конечно; это был путь к Богу через чистое, духовное знание, вхождение в природу Божества — ведь человек есть образ и подобие Божие.

Тони Дамиани через несколько лет умер, оставив после себя две книги, посвящённые реализации Абсолюта, то есть тому пути, который известен в Индии, но который является уделом ничтожного малого количества людей. Даже в самой Индии Веданту изучали всего 15 тысяч человек на миллиардное население. Причина этого, как нам сказали, в предельной сложности этого учения.

Ирина Антимонова, помимо того, что была просто замечательным человеком, занималась истинной астрологией — той сакральной наукой, которой владел Нострадамус и которая была распространена в христианском мире в Средние века и признавалась, кстати. Она, конечно, не имела ничего общего с той современной газетной астрологией, которую Ирина считала абсолютной чушью — не буду объяснять, почему. Эта женщина владела истинной астрологией и могла предсказывать многие вещи; одно из её предсказаний я уже упоминал.

Резюмируя сказанное, хочу отметить, что знакомство с Тони Дамиани и его ашрамом было большой удачей, потому что такие явления в Америке и вообще на Западе подобны редким жемчужинам. В основном там на коне Фрейд, профанация и психоанализ — явления синонимичные. Хотя, если это хоть немного успокаивает богатых дам — почему нет?

Мы постепенно обрастали друзьями, среди которых был, например, замечательный профессор математики Дынкин. Из американской среды я, прежде всего, хочу выделить уже упомянутого Джима Макконки — изумительного и признанного в Штатах писателя. Кстати, он шотландского происхождения, что явствует из его фамилии (как я уже говорил, с кельтами русские были на короткой ноге). Встреча с этим выдающимся человеком была одним из самых значительных и ярких событий американского периода эмиграции. Он жил в своём поместье недалеко от Итаки и преподавал литературное творчество в Корнельском университете. Мы дружили семьями. Другим нашим хорошим американским другом был профессор литературы Энди Эзергайлис, который принял участие в нашем становлении в пределах университетской жизни.

Подробнее о Джеймсе Макконки я расскажу в своё время, потому что это связано с литературой, с переводом одной моей книги на английский язык и его последствиями. Это произошло не сразу. А сейчас хочется указать ещё на один мощный источник, который питал и вдохновлял нашу с Машей американскую жизнь. Я имею в виду знаменитый русский православный монастырь Джорданвилл, расположенный на севере Америки, близ канадской границы. В его стенах обитали удивительные люди — священники, богословы, иконописцы. Рядом с монастырём находилось небольшое поселение, что-то вроде русской деревни — три или четыре избы. Притягательность этого места была даже мистической — известен случай, когда один американский студент, проезжая мимо мо-

настыря, вдруг остановился, зашёл внутрь, чтобы попросить воды и в итоге остался там на всю жизнь. Он овладел нашим языком, принял православие и стал монахом по имени Иоанникий.

Мистический момент проявил себя, когда мы подъезжали на машине непосредственно к монастырю... Мы вдруг заметили, что природа вокруг нас изменилась. Перемена эта была не физическая, а духовная, поскольку не секрет, что природа — живое существо, и, например, растения обладают сознанием, хотя и не человеческим. Мистический момент заключался в том, что природа этих мест как бы среагировала на присутствие здесь носителей русского духа. Выразилось это в том, что мы вдруг почувствовали себя окружёнными русским пейзажем с его какой-то неописуемой глубиной, трогательностью, с какой-то нежностью и удалённостью, с его тоской. Эти качества, конечно, физически не изменили облик леса, окружающего монастырь, — это были те же самые сосны и ели, но на них легла глубокая печать русской души. Это было поразительно и вместе с тем очень значительно для нас с Машей. Мы увидели в этом счастливый знак...

В этом монастыре мы подружились со многими монахами. Один из них, отец Киприан, в первую нашу встречу загадочно посмотрел на меня и сказал:

— А вы — поэт.

Так мы вошли в своеобразную русскую реальность. Это было для нас место отдохновения и молитвы. Кроме того, здесь была интереснейшая библиотека. Как только предоставлялась возможность, мы посещали монастырь и были бесконечно благодарны Богу за эту маленькую Россию внутри Америки. Надо сказать, что в душе Маши религиозный огонь возгорелся ещё до эмиграции, и на описываемый момент она была уже крещёной. Я же принял крещение, уже будучи в Америке, в православной автокефальной церкви Нью-Йорка. Священник, который меня крестил, архиепи-

скоп Никон, весьма тонкий и образованный человек (я имею в виду, конечно, не только светское образование), в годы Первой мировой войны был офицером, русским лётчиком. Потом, понятно, эмигрировал и ушёл «в иной мир», потому что настоящая религия — это иной мир по отношению к земному.

Периодически мы наведывались в Нью-Йорк по литературным делам. В одну из таких поездок с нами случилось небольшое, но внушительное приключение. Маша, которая вела машину, случайно проскочила нужный поворот, и вместо Манхэттена мы оказались в Южном Бронксе — поистине чудовищном районе, описать который чрезвычайно сложно, там нужно оказаться, почувствовать эту атмосферу… Я, как мог, передал ауру этого места в рассказе «Чарли», но сейчас не хочется на этом останавливаться. Скажу только, что Южный Бронкс выглядел, как после воздушной бомбардировки. Огромные дома без стёкол, ржавые пожарные лестницы, груды камней и мусора на улицах… Старухи с колясками, полными алюминиевых банок, тащатся через разбитые улицы… А люди… Это были так называемые «чёрные», довольно опасные на вид, но именно они нас спасли. Всё получилось как-то очень просто. Мы увидели группу молодых парней, вышли из машины и подошли к ним. Маша спросила, как выехать на Манхэттен. Один из парней стал подробно объяснять. Маша беспомощно слушала, понимая, что не может запомнить все эти «здесь налево, там направо». И вдруг этот парень крикнул: «Ладно, поезжай за мной!» После чего прыгнул в свою машину и рванул с места. Мы помчались следом и вскоре увидели огни Манхэттена. Наш спаситель вышел из машины и возвестил: «Приехали». Мы были ему бесконечно благодарны.

У нас было два кота, из которых одна была кошка, и вообще семейный уют наконец определился. Вообще говоря, американская жизнь существенно отличается от европейской. Амери-

ка — это Запад, но всё же иной Запад. Мне вспомнилась весьма драматичная история петербургского художника Виньковецкого, с которым мы познакомились в Штатах. Помимо того, что он был художником-неконформистом, он знал толк в нефти — закончил нефтяной институт в России. Он был знаком с Бродским, который помогал ему продвинуться, но на самом деле Виньковецкий не нуждался в помощи, поскольку, хотя его картины и не имели успеха, стремительно, благодаря нефти, шла в гору его карьера. Он трудоустроился в каком-то мощном институте и сразу стал представителем зажиточного среднего класса. В скором времени он получил субсидию на издание небольшого литературного журнала на русском языке. И в этом журнале он опубликовал стихи своей жены. В результате на него написали донос, суть которого сводилась к тому, что он злоупотребил доверием и использовал государственные деньги в личных интересах. Личные интересы — это как раз публикация стихов жены, поскольку муж и жена — одна сатана и прочее. Другими словами, он стал вором в глазах пуритан. И это «воровство» стоило Виньковецкому жизни, потому что в итоге он лишился работы и стремительно пошёл ко дну, лишённый всего. У него было двое детей, и его семья теперь жила на велфер. Сам он попал в чёрный список, его нигде не принимали на работу. И однажды, когда жена гуляла с детьми в парке, он покончил с собой. Бродский очень живо и эмоционально отреагировал на эту трагедию.

Эта история показывает всё лицемерие современного мира: воровать миллиарды, президентов, учёных, целые страны — это в порядке вещей, если ты принадлежишь к сверхбогатому классу, который управляет Америкой и претендует на мировое господство. Но если вы, будучи простым смертным, например, случайно стибрите какой-нибудь карандаш в магазине, вам гарантирован грандиозный скандал с освещением в прессе, и если вас не поса-

дят, то лишат работы, что по американским законам жизни означает, что вы больше не человек.

Надо сказать, что современной цивилизации голого чистогана в Соединённых Штатах сопротивлялось большое количество людей. Это сопротивление носило, может быть, даже более ярко выраженный характер, чем в Европе, потому что там агрессивность золотого тельца нивелировалась европейской культурой, которая, хоть и была уже далеко не та, что прежде, но тем не менее ещё имела инерционную силу. В Америке же — стране, свободной от «культурных пут», давление современного мира на человека, его грубое вторжение в мир внутренний было настолько бескомпромиссно-навязчиво и абсурдно-простодушно, что не только писатели, но и вообще люди или протестовали, или просто бежали от этого сломя голову. Практически все крупные американские писатели были диссидентами. Кто-то примыкал к движению хиппи, которое к тому времени уже сходило на нет, уходил в леса жить натуральным хозяйством, подальше от этой цивилизации. Америка — гигантский континент; жизнь на нём многообразна и сложна, и все её уровни за время нашего пребывания там просто невозможно было охватить. Но, конечно, общая печать современной бредовой цивилизации была налицо. И вместе с тем именно в Америке мы встретили людей, причём американцев, которые приняли нас от всей души, приняли по-настоящему. Наш друг, писатель Джим Макконки, был удивительным человеком; он вообще напоминал не только шотландца, кем и был по происхождению, но и русского, именно в силу того, что был глубоко верующим человеком... Мы общались очень плотно, домами, и он был совершенно лишён странной печати примитивизма, которая лежала на многих американских профессорах... Я никогда не забуду, как попал на лекцию одного профессора в Корнельском университете, которая касалась «Божественной комедии». Профессор

подал материал в дико упрощенческом, современно-юмористическом ключе, и благодаря такой подаче «Божественная комедия» превратилась в комикс, а Беатриче — в гёрлфренд Данте, подружку по сексу, с которой не расписываются, но живут. В этой лекции был достигнут тот предел идиотизма, о котором в Советском Союзе, даже при всей тупости марксистско-ленинской идеологии, невозможно было и помыслить.

Но были и другие профессора. Среди них была одна выдающаяся личность, француз-японовед. Он преподавал буддизм, а в учёном мире не принято, если какую бы то ни было религию преподаёт человек, исповедующий её. Религии должны быть вне науки, а преподаватель религии должен быть прежде всего учёным. Но этот француз был глубоко проникнут буддизмом, и однажды он мне признался:

— Я готов принять буддизм, но по-тихому, чтобы это не помешало моей карьере.

Он был настоящим виртуозом в японском языке. Однажды, во время пребывания в Японии, его волею судеб занесло в сугубо криминальный район Токио, где жили одни уголовники. Внезапно они окружили его — иностранец! Казалось бы, всё, конец, — а он вдруг возьми и заговори с ними на диалекте именно этого уголовного района. Эти ребята окаменели и расцвели одновременно; они были настолько поражены, что чуть не расцеловали профессора и пригласили его посидеть с ними в местном кафе. Вот что язык делает с людьми.

...Вспоминается замечательная русская семья, принадлежащая ко второй волне эмиграции... Общение со всеми этими людьми скрашивало нашу жизнь в добровольном изгнании. Вокруг нас всегда были какие-то исключительные люди. К нам тянулись «белые вороны», то есть они могли работать профессорами, как Эзергайлис, но в душе это были другие люди. Была среди

наших знакомых и молодёжь — одна семья, которая вышла из среды хиппи, но бросила хипповать и развернула перед нами целое историческое полотно, повествующее об этом движении в Америке. Это было очень интересно, потому что интересно познание мира в разных его аспектах. Само по себе познание мира интересно; главное, чтобы оно было глубоким. Мы с Машей старались. Мы, можно сказать, были одержимы познанием этого мира — заглядывали в каждую церковь, в каждый угол, где можно было встретить интересных людей. Мы искали таких встреч. Но нужно было найти ещё и правильный подход, выработать тактику общения, потому что обычно в нормальном американском обществе не принято говорить о чём-либо серьёзно, а обсуждать политику или религию — вообще запрещено, потому что это может разделить людей, наделать шуму, и вообще некомфортно говорить о таких серьёзных вещах. В Америке комфорт — важнейшая бытийная категория. Казалось, что даже похороны близких там хотят сделать комфортабельными — настолько идея комфорта обуяла людей в этой странной философской системе голого чистогана. Ничего подобного никогда не было в истории рода человеческого.

Тем не менее мы были опьянены общением с нашими американскими друзьями. С эмигрантами также поддерживали отношения. Но общение общением, а действительно значительный поворот произошёл тогда, когда издательство Taplinger всё-таки решилось напечатать «Шатунов» вместе с рассказами. Но получилось это где-то уже во второй половине 70-х. До этого я уже публиковался на английском языке, в частности, в журнале, главным редактором которого был Джим Макконки. Там печатались отрывки из «Шатунов» и рассказы тоже, но то, что целая книга вышла на английском, это был, безусловно, успех, поскольку я был совершенно неизвестен в США. Однако без проблем не обо-

шлось. Во-первых, перевод был весьма и весьма неважный, а во-вторых, когда редакторы полностью прочли текст романа, они вдруг почему-то ужаснулись, и в итоге «Шатуны» вышли со значительными купюрами — приблизительно на одну треть роман был урезан. Настолько этот текст оказался сложным для Америки, в отличие, кстати, от Европы.

И тем не менее эта публикация сыграла важную роль в нашей с Машей судьбе. Во-первых, поскольку вышла книга на английском языке, я стал признанным писателем и мгновенно был принят в американский ПЕН-клуб. Для рядового американского интеллигента мой роман был тяжеловат, но писатели приняли его на ура. Во-вторых, само членство в ПЕН-клубе было нежданным и радостным событием, поскольку давало целый ряд существенных преимуществ социального порядка. И в-третьих, в будущем «Шатуны» сыграли решающую роль в нашем устройстве во Франции, потому что когда президент французского ПЕН-клуба Рене Таверно прочёл роман на английском языке, он произнёс:

— Такой писатель должен жить в центре европейской культуры.

Сказав эти слова, он написал письмо министру культуры Франции, и тот открыл нам ворота в Париж. Но здесь я сильно забегаю вперёд.

Когда «Шатуны» вышли из печати, нас пригласили на конференцию в Вашингтон. Там собирались люди слова, и мы, конечно, приняли приглашение. Проделав неблизкий путь из Итаки на автомобиле, мы остановились у родителей одного нашего студента, который учился в Корнельском университете и тяготел к нам...

Происходящее на конференции было изумительно со всех точек зрения. У нас сохранилось довольно много фотографий с этого мероприятия. Кого только там не было — писатели, провидцы, партийные функционеры и всё, что хочешь. Мне тоже там было пре-

доставлено слово. Нас, кстати говоря, хорошо приняла поэтическая секция; один американский поэт даже перевёл на английский дватри моих стихотворения и опубликовал их в своём журнале…

На мероприятии меня поразил один партийный функционер, не знаю, правда, к какой партии он принадлежал. Он постоянно как бы встраивал политический подтекст во все дискуссии; всё происходящее хотел сделать политическим. В моём случае он вдруг спросил:

— Сколько лет вы провели в тюрьме в Советском Союзе?

Я не удивился этому вопросу, но он почему-то вызвал глубокое возмущение у американцев. Упомянутый поэт и ещё дватри человека выступили и сказали, что задавать подобные вопросы — верх бестактности и хамства; они просто загнобили этого партийца, и я даже не успел ответить. Но главное, что меня поразило, — что этот субъект был словно слепком с коммунистических функционеров времён 50-х годов. У него была эта самая ярко выраженная склонность навязывать, психологически подавлять своей идеологией. Это было интересно.

Кроме писателей, провидцев, поэтов и партийцев, на конференции присутствовала одна замечательная женщина, которая могла многое сказать о человеке по его почерку. Она просто творила чудеса — все духовные моменты человека были перед ней как на ладони… Также был знаменитый английский гипнотизёр, который действительно загипнотизировал зал; мы с Машей видели это, но нас данный гипноз не коснулся. Однако нужно было проявить учтивость и вежливость, и, поскольку мы сидели в первом ряду, Маша встала, подошла к гипнотизёру и сказала:

— Ваш талант не может не поражать!

В ответ гипнотизёр посмотрел на меня и сказал.

— Пустяки! У вашего мужа, писателя, не менее поразительный талант.

Конференция завершилась благополучно. Мы посетили в качестве экскурсии Белый дом и посольство красного коммунистического Китая в Вашингтоне. Великие реформы в Китае ещё к тому времени не осуществились, и, конечно, посольство производило мрачное впечатление.

***

Во второй половине 70-х годов нам посчастливилось посетить Францию. Мы остановились у мужа Светланы Радзиевской, о которой я уже упоминал, — это была подруга моей жены и просто замечательный человек. В это первое путешествие в сердце Европы Париж, конечно, ошеломил нас. Но странное дело — поначалу я испытал нечто вроде разочарования — настолько в голове русского человека бродил миф о Париже как о некоем «городе райских наслаждений»… И из-за этого в первый день я как будто не увидел ничего особенного — город как город. Уже потом, когда мы глубоко погрузились в парижское бытие, в архитектуру, в каждую клеточку этого города, мы почувствовали его истинное очарование, а пока… Мне показалось даже, что в Корнельском университете эмигранты живут гораздо лучше. Но во Франции мы познакомились с замечательными русскими людьми Парижа — с Владимиром Максимовым, Владимиром Марамзиным, Михаилом Шемякиным, с Любой Юргенсон — удивительной писательницей, которая впоследствии стала писать по-французски. При этом ещё не состоялась встреча с нашими будущими истинными друзьями по Франции. Мы ещё не были знакомы ни с Даниэль Дорде, ни с Рене Тавернье, ни с Татьяной Горичевой, ни с известным политиком Мишелем Понтоном. Вообще, дружеские отношения, в нашем понимании, не ограничивались просто дружбой, которая, без сомнения, являлась великим человеческим чувством, но они были также связаны с деятельностью, с литературой, с философией, они были

частью нашей жизни, частью работы, если хотите, и это было нечто уникальное. Тогда мы этого в Париже не нашли. Конечно, там был Михаил Шемякин, успешный эмигрантский художник. На тот момент мы уже были друзьями; он напечатал нашумевшую статью обо мне в журнале «Аполлон 77», но об этом чуть позже. У Шемякина мы встретили совершенно феерический Новый год.

В эту же поездку мы познакомились с одним изумительным человеком, французским писателем и переводчиком Петром Равичем, которого, кстати, хорошо знала Люба Юргенсон и который произвёл на меня большое впечатление. Я как раз, пользуясь случаем, привёз во Францию «Шатунов» на русском языке, и Равич сам предложил помощь в продвижении романа, потому что он был очень известен в литературных кругах в плане критики и вообще литературоведения и являлся специалистом по русской литературе. Однако судьба его сложилась трагически.

Я почувствовал, что он по-настоящему проникся «Шатунами». Он заявил, что это великая книга и обещал попробовать пробить её в издательстве «Галлимар». Но он предупредил, что «Галлимар» — это некое камерное, снобистское пространство, что с такой книгой там будет трудновато, но есть ещё одно крупное издательство — «Робер Лафон», и вот там шансов больше. Но всё-таки он очень надеялся на «Галлимар»; хотел, чтобы «Шатуны» вышли там. В итоге, при всём мощном авторитете этого человека, в «Галлимаре» он получил решительный отказ; ему сказали, что «Галлимар» не может *так* шокировать. «Шокировать надо умело», — таков был ответ. Подразумевалось, что шокировать людей — очень тонкое искусство, и его инструмент — слабые струнки человеческой психологии, которые нужно ещё уметь найти. Что же до «Шатунов», то это — абсолютный шок и даже неизвестно, как вообще реагировать на это.

Это был очень интересный человек, мы вели с ним замечательные беседы. Но, как я уже говорил, судьба его сложилась тра-

гически — он покончил с собой. При всём его прекрасном социальном положении было в нём что-то надорвано; может быть, не столько Освенцимом, сколько общей ситуацией в мире, в котором он родился, — с XX веком шутки плохи. Он был чересчур тонким человеком, чтобы перенести некоторые жуткие реалии современной цивилизации.

По приезде в Штаты и по прошествии некоторого времени после публикации «Шатунов» Маша заявила, что я должен написать роман. В Америке к этому времени из-под моего пера вышло несколько рассказов, которые были опубликованы в русскоязычной прессе. Говоря о романе, Маша имела в виду, что я должен сдержать слово, данное нашим московским друзьям, и написать роман о неконформистской Москве 60-х годов.

Я принялся за дело, причём вначале мне было довольно сложно, потому что роман должен был быть совершенно реалистическим и с определёнными прототипами. Назывался он «Московский гамбит». Там были описаны Леонид Губанов, Саша Харитонов — изумительный художник нашего круга, известный в Москве, и многие другие персонажи, так что это было произведение, совершенно не похожее на «Шатуны» именно своей реалистичностью. В «Шатунах» я углубился в бездны, которые разрывали человеческое существо, уводили человека за собственные пределы. В «Гамбите» же в этом отношении всё было спокойно. Безусловно, границы там тоже были смещены, но, так сказать, «в незаметном ключе» — сам метод реалистического повествования накладывал эти ограничения.

Между тем начинались 80-е годы. Я почти закончил роман, но ещё не успел предложить его никакому издательству. Однако с ним были ознакомлены наши университетские друзья. Среди них была весьма приятная женщина, которая читала по-русски и была поклонницей «Шатунов». И вот здесь начинается самое странное — прочи-

тав «Московский гамбит», она заявила, что это произведение абсолютно не годится для публикации не только в Соединённых Штатах, но и вообще на Западе. Я был в высшей степени удивлён:

— Почему?!

— Потому что таких людей, которых вы описали в своём, как вы говорите, реалистическом романе, не бывает и быть не может. Я бы назвала ваш роман, скорее, фантастическим.

Должен признаться, что после этих слов мы с Машей совершенно обалдели. Я тщательно воплощал на бумаге своих живых героев, людей, которых знал лично, моих друзей, описывал реальные жизненные ситуации — и что же? Выяснилось, что в хрупкие рамки американского восприятия эти герои не вписывались — оно было способно лишь наделить их статусом фантастичности. А ведь это были настоящие русские люди из плоти и крови, которые пели песни и читали стихи, пили водку и «плакали под забором», а не только витали в небесах. И меня несказанно обрадовал тот неожиданный факт, что обычные люди (хотя, конечно, обычные для нас), причём мои друзья, кажутся здесь, в Америке, фантастическими существами. Меня даже обуяла гордость — вот, оказывается, какие мы на самом деле! Мы были здесь инопланетянами. И тут мне вспомнилось, как Белый Тигр отговаривала Женю Головина ехать в Америку. Я вдруг почувствовал, насколько мы тут одиноки. Однако особенно ни меня, ни Машу это не огорчило, потому что к тому времени в нас уже практически созрело решение сбежать во Францию.

Между тем наша университетская жизнь продолжалась в привычном темпе. Мы навещали Нью-Йорк, встречались с людьми. Например, весьма интересной была встреча с первым американским издателем «Лолиты». Мы сидели с ним вечером в тихом кафе, и он рассказывал, что после публикации его арестовали и посадили на несколько дней за решётку и что скандал по поводу этой книги имел мировой размах. Оно и понятно. Однако вскоре ро-

ман получил огромное признание — безусловно, скандальный, но всё же успех. Сам Набоков, если не ошибаюсь, говорил о том, что «Лолита» отнюдь не является апологией каких-то необычных сексуальных переживаний; он говорил, что это роман о страшной пустоте американской жизни. Тем не менее читающая публика приняла его именно в порнографическом ключе, что не опровергает, а скорее подтверждает набоковские слова.

Кроме того, уже перед самым нашим отъездом во Францию, была встреча с Сергеем Довлатовым, который мне очень понравился. Его окружали таинственно-интересные люди. Мне запомнилась одна встреча с ним. Произошла она, когда мы в очередной раз решили навестить Нью-Йорк. Мы встретились со знакомыми, пошли гулять, и как-то нас занесло к Довлатову. По каким-то таинственным причинам у Маши и у одного неприкаянного русского художника, нашего знакомого, оказались билеты в кино, на фильм Никиты Михалкова «Обломов». Я отпустил их в кино, сказав, что подожду у Довлатова. И вот они пошли, а когда вернулись, меня поразила происшедшая в них перемена — их будто обуяло что-то очень глубоко своё, общее, родное. Просмотр фильма вылился в настоящий «приступ» ностальгии, хотя даже слово «приступ» слишком блёкло для описания состояния, охватившего их. Это было какое-то мистическое чувство, до такой степени сильное, что они даже не могли разговаривать между собой.

Подобные примеры были в нашей эмигрантской жизни не раз. Я помню историю, рассказанную нам уже после нашего возвращения в Россию. Женщина, русская эмигрантка, после долгих и мучительных поисков, получила, наконец, какую-то не очень высокооплачиваемую, но работу. В Америке с ней был её двадцатилетний сын, и ей очень хотелось благополучно устроить там его жизнь. Однажды вечером, войдя в его комнату, она увидела, что он сидит на полу и плачет, а перед ним лежит книга. Это был Тургенев.

Было множество разных случаев, связанных с какой-то необъяснимой тоской по России. В настоящее время ситуация, конечно, в корне иная — человек может в любое время уехать из страны и в любое время вернуться обратно. Ограничений нет. А тогда это был обрыв. И это в значительной мере убедило меня в том, что нужно глубинным образом, привлекая философские знания, которые я имел, исследовать русскую литературу, русскую культуру, русскую душу, которая, конечно, больше всего выражает себя в искусстве, в литературе и в нас самих.

Описанные случаи показывали, что Россия — не просто страна. Я писал об этом в «России Вечной» — обстоятельно, обоснованно с точки зрения космогонии, невидимого мира и так далее. Но об этом как-нибудь потом... Разноцветный вихрь эмигрантской жизни с познанием мира сего, с нескончаемой вереницей встреч, с весельем, истериками и драматизмом, носил нас по кругам нашего необычного изгнания. Иной раз это кружение имело горький привкус, иной раз — сладкий. Например, пикники в лесах со студентами и профессорами Корнельского университета были весьма приятны — с хорошим алкоголем и прекрасным общением... Нам довелось даже слегка окунуться в мир американской богемы — мы познакомились с одним музыкантом, и атмосфера этой встречи была пронизана флюидами старинного европейского духа — богема есть богема, даже в Америке.

К этому времени мы уже пришли к ясному осознанию того факта, что долгое время жить в Соединённых Штатах мы не сможем. Маша постоянно об этом говорила, да и я прекрасно это понимал. Причин было две. Одна из них заключалась в абсолютной чуждости нам американской цивилизации. Бесспорно — у нас там были друзья, были просто очень хорошие люди, однако общая тенденция этой цивилизации, её аура были нам совершенно чужды. Другое дело — университет; это, конечно, особый мир, там сидят учёные. Но

учёные — это всё-таки циклопы, предельно ограниченные своей специальностью. Полагая, что открыли вселенную, они закрыли существование Бога. В общем, даже в университете, несмотря на уютный налёт образованности, по сути, царил обычный бред XX века. Но на психологическом уровне в Америке для учёного и его научной деятельности были открыты весьма широкие перспективы. Кроме того, как я уже сказал, эти люди занимались исключительно своей узкой специальностью, а на всё остальное просто не обращали внимания. Это была псевдонаука, очень выгодная Соединённым Штатам, потому что псевдонаука всегда приносит много денег.

Другой важнейшей причиной была оголтелая русофобия, которая царила в американской прессе и политике. Её не было в народе, не было даже в среде интеллигенции, во всяком случае, значительной её части, — русофобия исходила от власти и от прислужников её — СМИ. Мне хотелось бы взглянуть на эту проблему с особой точки зрения, поэтому я решил посвятить ей отдельную главу.



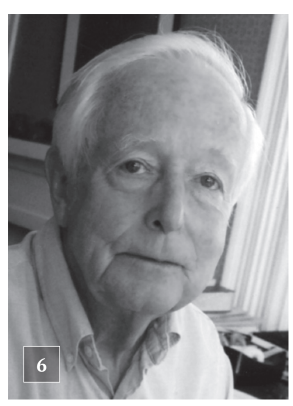




1. Мария и Юрий Мамлеевы
   Итака, штат Нью-Йорк
2. Мария Мамлеева в библиотеке Корнельского университета
3. Мария Мамлеева, Олег Целков, Юрий Мамлеев в мастерской







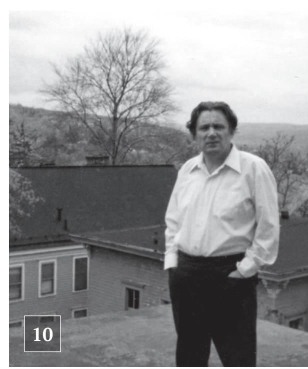
4. Вагрич Бахчанян,
Юрий Мамлеев,
Мария Мамлеева

5. Писатель Эдуард Лимонов

6. Писатель Джеймс Макконки







7. Юрий Мамлеев

8–9. Юрий Мамлеев подписывает свои книги на авторском вечере в Корнельском университете

Итака, Нью-Йорк, 1979

10. Юрий Мамлеев на крыше дома в Итаке

Русофобия

Говоря о русофобии, должен заметить, что лично к нам в Штатах относились нормально, хотя мы и были русскими. Но кроме того, мы ведь были «беженцами» из Советского Союза, «гонимыми», поэтому особых проблем не возникало. Однако под русофобией я в данном случае подразумеваю глобальное политическое явление, которое, конечно, вызывало у нас, мягко говоря, отрицательную реакцию, поскольку касалось нашей страны и её положения в мире.

Вообще говоря, когда напрямую оскорбляют народ, к которому ты принадлежишь, подобные вещи с трудом прощаются, как известно из истории. Хотя, например, взаимные анекдоты французов об англичанах, англичан о французах и так далее до бесконечности проходят на ура. Но ясно, что в данном случае это совершенно безобидное явление. Однако политика, как известно, вещь далеко не безобидная.

Итак, в чём, собственно говоря, заключалась русофобия? Мы были знакомы с общей ситуацией в западном мире — через газеты, телевидение, встречи с людьми и так далее — и чувствовали, что русофобская пропаганда льётся мутным, патологическим потоком. Целью было оболгать Россию, русских и братские народы. Доходило до того, что, например, когда в газетах сообщалось о каких-

то достижениях Советского Союза, скажем, об успехах в космосе не военного порядка, то обычно употреблялось слово «советские» («советские запустили мирную ракету на луну»). Когда же речь заходила о каких-то негативных явлениях, наш народ всегда называли «русскими» («русские угрожают Афганистану»). Даже в каких-то совсем незначительных, но негативных мелочах, всегда употреблялся этот эпитет — «русские». Эта патологическая русофобия была нелепой и непрерывной. Цель была проста — превратить Россию в некое средоточие зла, — обычный приём против своего врага, но в Америке это делалось с каким-то истеричным надрывом. Причём обвинительные доводы были абсолютно нелепы, особенно когда заглядывали в историю. Ненавидели не просто Советский Союз, но и всю историческую Россию в целом — во всём она была виновата, всё зло шло от неё, а другие — убийцы и колонизаторы — они были ангелами. В таком духе. Всё это было абсурдно и примитивно, и об этом было написано в школьных учебниках... Абсурд был на грани идиотизма — что бы ни происходило, во всём была виновата Россия. Причём поражали наглость и тупость, с какими весь этот абсурд подавался. Видимо, это был такой принцип, потому что в Соединённых Штатах люди по большей части невежественны; многие из них не знают, где расположен Париж.

Однако тупость тупостью, но проблема залегала куда глубже, и сквозь завесу абсурда совершенно явно просвечивала определённая политика, которая состояла в борьбе именно против России, а не только коммунистической системы СССР. И если бы Запад одержал победу в этой борьбе, то, Россия скорее всего просто прекратила бы своё существование, по крайней мере, как государство. Слишком сильна была болезненно-негативная реакция на нашу страну. Почему?

Суть заключалась в очень простом явлении. После Второй мировой войны американская мощь достигла своего апогея,

и единственным препятствием для установления мирового господства США была, конечно, Россия. Если бы не Россия, осуществилась бы мечта о мировом господстве и построении общества по американскому образцу. С точки зрения американцев, если бы не мы, то в мире всё было бы в порядке. Они были бы господами, и всё было бы хорошо.

Ситуацию с русофобией мы переживали весьма болезненно. Надо сказать, конечно, что на уровне интеллигенции, на уровне русской культуры со стороны Америки было огромное уважение к русской классике, которая была лицом России. Я имею в виду Пушкина, Толстого, Достоевского и всю нашу классическую русскую литературу, которая в XX веке венчается Булгаковым и Платоновым. Великая русская литература — это было наше завоевание, и на Западе не было той силы, которая могла бы это отрицать, что-то этому противопоставить. Это был наш оплот во веки веков, и с этим невозможно было поспорить. Хотелось, конечно, но увы, потому что, например, Достоевский считался писателем номер один, лучшим писателем в мире, и с этим ничего нельзя было поделать. Таким образом, престиж русской литературы основал неувядаемый, вечный образ великой России. Когда речь шла о чём-то хорошем в России, отказать нам в этом было невозможно. Кстати, существуют глубокие американские исследования о Гоголе… И тем не менее культура — это одно, а политика — совсем другое.

Однажды я беседовал с одним американским социологом, чехом по происхождению. Этот чех высказался в том ключе, что у Советского Союза (имена нашей страны блуждали в его речи — он называл нас то «Советским Союзом», то «Россией») существует две линии защиты. Он имел в виду защиту не военную, а идеологическую, мировоззренческую, благодаря которой люди и образуют своё собственное бытие, свою собственную природу. К первой линии защиты он отнёс коммунизм, сказав, что это невероят-

но сильная идеология по существу, потому что её суть в восстании бедных против богатых. Он говорил просто, по-американски. Бедных, говорил он, в мире большинство; их миллиарды. Богатых стран маловато, да к тому же и там есть бедные. В общем, коммунизм есть восстание бедных против богатых, особенно сверхбогатых, которые командуют всем. Он говорил, что этот стержень очень мощный. Но как раз его мы, американцы (продолжал этот чех), можем сломать. Во всяком случае, попытаемся. Почему — потому что этот стержень «работает» исключительно в разгар революционного времени, когда народ голодает, негодует и ненавидит буржуев. Но в Советском Союзе уже прошло слишком много времени с тех пор как начали строить социализм-коммунизм, и обнаружились пробелы в этом «строительстве», выяснилось, что далеко не всё здесь продумано, и это не могло не вызвать у людей недовольства и разочарования. Таким образом, выявилась уязвимость данной идеологии, и её обнаружило время. Одно дело, когда эта идеология распространялась в бедных странах в эпоху угнетения рабочего класса, и совсем другое — когда она стала зиждиться на бюрократии, уже в стране «развитого социализма», успевшей нажить массу пороков и совершить кучу ошибок. Тут уже в народе растёт новое раздражение, поскольку людям обещали одно, а получилось другое. Впрочем, здесь можно много спорить, заключил этот социолог, — тема очень ядовитая.

Однако его утверждение по поводу первой линии защиты было совершенно оправданно, и мы отлично знали, что в СССР идёт процесс деградации социалистического мировоззрения. Над этим уже в 60-е годы хохотала интеллигенция, но ещё не вся. А в 80-е, по-моему, уже вся.

Под второй линией защиты этот американец чешского происхождения имел в виду русский патриотизм, вечный русский патриотизм, который всегда спасал Россию от всех бедствий, войн

и невзгод. Он утверждал, что, по различным исследованиям американских институтов, которые занимаются изучением истории становления и причин гибели некоторых империй, стран, было замечено, что разрушение страны, её завоевание и ассимиляция её народа связаны, как правило, с угасанием патриотизма, то есть любви к своей стране. Когда эта любовь уходит, народ становится безразличным к судьбе своей страны и к собственной судьбе, готов подчиниться или, во всяком случае, не оказывать сопротивления врагу. Это абсолютно верное заключение (отдадим должное американцам), потому что если народ теряет любовь к себе, какой смысл существовать в виде такого народа? Это уже не народ, а просто население. Если в семье люди не любят друг друга, то семья распадается. Что здесь говорить… Если народ не любит свою родину, не любит себя — как можно жить? Для чего, собственно, жить?

Короче говоря, социолог этот высказался в том ключе, что мы-де наверняка сломаем эту первую линию защиты, а вот со второй будут проблемы. Но мы сделаем всё возможное, чтобы сломать и её. Как известно, всё возможное делалось в 90-е годы. Но пока мы оставим эту тему. В конце книги я попытаюсь сделать общее заключение о мировой ситуации и о возможном будущем рода человеческого. Но особенно, конечно, меня волнует всё, что касается России.

Я полагаю, что на данный момент необходимо научиться сотрудничать с любыми странами, находить с ними общий язык; в противном случае человечество просто погибнет. Поэтому сотрудничество с Америкой, с Западом вообще, с Китаем скорее всего будет основано не на любви; скорее всего оно будет носить прагматический характер, потому что *необходимо* для выживания рода человеческого. Любовь не может победить мир, потому что мир полон ненависти, и достигнуть мира, увы, можно только через страх, путём осознания того, что кроме сотрудничества между странами нет иного пути, второй путь — это катастрофа мирового масштаба.

Но что означает это сотрудничество? Оно должно означать признание того факта, что мировое господство невозможно, что существует несколько цивилизаций — российская, китайская, исламская, западная, потенциально — латиноамериканская, которые имеют право на собственное существование, на собственное понимание реальности и отношение к своей стране. При таких условиях действительно возможен мир, который сохранит род человеческий.

***

В свете вышеизложенного наше стремление перебраться во Францию, думаю, становится вполне понятным, учитывая, что однажды мы уже посещали эту страну, да и чисто теоретически мы знали, что Европа — это нечто другое, нежели Америка, другой континент. Что же касается Франции, то она всегда была наиболее близка нам в культурном отношении.

Итак, мы решили переехать во Францию. Но легко сказать — решили. Вопрос стоял в том, как это осуществить. Дело в том, что формально мы не имели права жить в этой стране. Мы уже не были беженцами, мы были как бы американцами. Нам необходимо было добиться этого права.

Естественно, это было непросто. Нам с Машей пришлось преодолеть целый ряд трудностей. Покинуть СССР, где подпольные писатели считались чуть ли не врагами (хотя какими мы были врагами? Просто смешно), было не так уж и сложно, но сейчас… Фактически — новая эмиграция, причём совершенно «безосновательная». Вообще говоря, когда мы намекнули о своих «французских» планах друзьям-эмигрантам, да и американцам, они покрутили пальцем у виска. Зачем вам это? — в один голос говорили все. Действительно, побег во Францию выглядел в высшей степени нелогично. Мы оба были прекрасно устроены в социальном плане; у нас было всё, что положено среднему классу. И бросить целых

две работы, бросить всё, что с таким трудом устраивалось и ехать в неизвестную страну, чтобы начинать всё заново… А нам ведь было уже не двадцать лет…

Неважно — мы были полны энергии. Маша вообще выглядела молодой, она как была красавицей, так и оставалась, причём какой-то особенной красавицей, потому что её красота была очень нежной, духовной. Время вот только было не нежное и не духовное.

И вот в начале 80-х годов наша жизнь уже стала как бы течь во французском ключе, хотя мы дышали ещё тяжеловатым воздухом Америки. Мы внутренне готовились к отъезду, а параллельно, вовне, происходили события разного плана. Вот, например, как назло, неожиданно было объявлено, что пенсия всех сотрудников Корнельского университета будет соответствовать 90% их заработной платы. Это было совершенно невиданное решение, учитывая, что университет был высочайшего уровня, получастный, полугосударственный. Другими словами, это решение гарантировало эмигрантам денежное содержание по гроб жизни. Но мы отринули этот соблазн.

А в университет периодически наведывались американские писатели, интереснейшие люди, с которыми нас знакомил наш друг Джим Макконки. Особенно нам запомнился Джон Чивер. Он часто разъезжал по университетам и, как и мы, дружил с Макконки. Это был замечательный писатель, к тому же пьющий, что вообще было трогательно. В университете даже был заведён обычай: перед выступлением Чиверу выделяли маленькую комнатку, где он мог спокойно выпить. Мне очень понравился этот человек.

Потом приезжал Борхес, но уже слепой. Поэтому он не мог читать «Шатунов», в отличие от Макконки или Чивера, да и как к нему могла попасть книга русского автора, изданная в Америке? Тем не менее, у нас с ним состоялась беседа, он почему-то горячо жал мне руку, я что-то рассказывал… В общем, встреча была сумбурная. Вокруг него собралось невероятное количество лю-

дей, студентов… Несмотря на то, что это была встреча мельком, она мне запомнилась, потому что, во-первых, Борхес был великий писатель, а во-вторых, то, что он говорил… От этого веяло какой-то неизъяснимой глубиной; это был очень глубокий человек. Возможно, я ошибаюсь, но такое уж он оставил впечатление.

Более непосредственным было общение с автором небезызвестного «Голого завтрака», Уильямом Берроузом. Он был в восторге от моего романа, и несмотря на жуткий перевод и купюры, почувствовал подтекст, почувствовал, что за этим стоит. Берроуз хвалил меня, и его окружал ореол мистического писателя. Это объяснялось тем, что многое в его творчестве было основано на наркотическом опыте, и этот опыт был, безусловно, глубок. Но вот что касается его визионерства, оно как раз было весьма ограниченно. В газетах, которые пишут всякую чушь, особенно касательно литературы, его визионерство сравнивали с визионерством Данте. При всём моём уважении, подобное сравнение — просто нелепость. Визионерство Данте было основано на традиционализме, на глубинной религиозной медитации, прорывах в тот мир, а у Берроуза… Конечно, это были прекрасные прорывы, но они не выходили за рамки сферы психического.

Кроме прочего, мне писал один известный английский писатель; у меня сохранились его письма. Он прочитал «Шатунов», и его реакция на прочитанное была очень оригинальной. Он с большим вниманием относился к русской литературе и отличался резкой критикой современного мира. Но когда я прочёл его письмо, которое он написал мне сразу после прочтения «Шатунов», сказав, что это замечательная книга, меня поразило то, как он видит этот роман. А видел он в нём прежде всего проблему насилия, которая, по его мнению, является основной проблемой современного мира. Он имел в виду насилие в широком смысле — насилие над слабыми народами, над слабыми государствами, насилие од-

ного класса над другим, насилие мужчины над женщиной — насилие, которое принимало разнообразные формы. Вместе с тем (писал он мне) имеет место ещё и насилие психологическое — это когда через пропаганду, через СМИ людям в головы вбивают всякую чушь. И он считал насилие главной проблемой современного мира. Всё это, бесспорно, было правдой, но какое отношение это имело к «Шатунам», было непонятно. Никто ещё не смотрел на мой роман с подобной точки зрения.

Джим Макконки, как я уже отметил, на «Шатунов» среагировал абсолютно адекватно. В пользу этого говорит уже хотя бы тот факт, что он публиковал мои произведения в своём журнале, да и его статья об этом романе, о которой я упоминал в главе «Шатуны», говорит сама за себя. Самым мощным в этой статье, конечно, было то, что Макконки назвал мой роман религиозным. Это указывает на очень глубокий уровень прочтения. И ведь это сущая правда, потому что религиозность не означает только свечи, лампадки, благовонные богослужения и церковные праздники без проникновения в суть этих атрибутов и действ. Но слово «религиозность» имеет множество ступеней смысла; это очень глубинное понятие, оно идёт, идёт всё дальше, поднимаясь к небу, возносясь в глубины Божьи; это слово иногда даже меняет свой смысл. Мы знаем это из писаний отцов церкви, например, из отрицательного эзотерического богословия или из творений Дионисия Ареопагита и, кстати, самого Оригена. И Макконки, говоря о религиозности «Шатунов», имел в виду, что в её основе лежит некая необоримая тяга к постижению того, чего постичь нельзя. Вспомним Волошина:

Сильна ты нездешней мерой,
Нездешней страстью чиста,
Неутолённой верой
Твои запеклись уста.

В приведённом отрывке выражен опыт неутолённости религиозных исканий. Это же понимал и Джим Макконки, погружаясь в текст «Шатунов». Он чувствовал, что в подтексте жизни описанных там полумонстров — полу- просто исключительных людей лежит жажда познать всё до конца, жажда абсолютного познания. Поэтому аура «Шатунов» окрашена в тона некоего религиозного озверения; там изображена жизнь, бьющаяся в пароксизме богооставленности, в агонии прорыва к Вечному, и поэтому религиозность эта в значительной степени безумна.

Потому-то я и говорил, что мир, описанный в «Шатунах», — исключительный мир и герои его — исключительные люди. Кстати, в предисловии к роману одного английского издания сказано, что в этом произведении божественное и безумное идут рука об руку. Оно и понятно.

Меня, конечно, не могло не обрадовать столь глубокое проникновение в мой роман со стороны Джима. Потому мы и дружили семьями… В общем, мы покидали Америку, имея немногих, но хороших и глубоких друзей. Я имею в виду, конечно, самого Джима Макконки, Тони Дамиани (хотя с последним мы общались довольно-таки редко, но это было общение на самом высоком уровне), прорицательницу Ирину Антимонову, профессора Эзергайлиса и, конечно, самого Джорджа Гибиана, без которого мы просто пропали бы в Америке и никогда не увидели бы Корнельского университета и всех этих прекрасных людей.

…Надо сказать, что в Америке у нас были друзья не только высокого ранга. Например, Маша дружила с девочками из университетской библиотеки. Они были очень добрые, простые, и с ними можно было отдохнуть душой.

Между тем нам неожиданно улыбнулось счастье во второй раз побывать во Франции, и эта вторая поездка окончательно и бесповоротно утвердила нас в решении переехать жить в Ев-

ропу. Увидев Париж во второй раз, Маша категорически захотела жить там. Я был просто не против, она же — категорически за. Она смотрела на этот город, на его сверкающие дома, кафе, на деревья, на Сену — и весь мир кружился и переворачивался в её глазах. Уже не было той выжидательной, изучающей, настороженной позиции, как в первый раз — было одно сплошное очарование. То ли это был контраст с суровой в смысле погружения в обыденность американской жизнью… Но сразу бросались в глаза мелочи. Мы удивлялись всему, как дети. Например, идём по улице, и вдруг Маша хватает меня за рукав и говорит:

— Посмотри на рабочих.

Четверо рабочих-французов сидели на мостовой и ничего не делали — у них был перекур. Они смеялись, курили, только что не пили вино. Да, я понял, что Маша хотела мне сказать — в Америке такое явление выглядело бы дикостью. Там это немыслимо — прерывать работу во время рабочего дня. А здесь, как в России, — сидят, курят, смеются, разговаривают, и ничего.

Стоял прекрасный весенний день, и когда мы оказались в районе Монмартра, нас прямо-таки охватило житейское очарование Парижа — двери кафе открыты настежь, столики на улицах, за ними сидят люди, мирно разговаривают, потягивают вино, и всё это делается как-то не брутально-алкогольно, а спокойно и в веселии сердца. Вокруг всё залито весенним солнцем, и на холме — громада базилики Сакре-Кёр. В общем, всё, что нужно человеку. Маша стояла и смотрела на это как зачарованная. И она сказала мне:

— Юра, давай переедем в Париж.

Я, как я уже сказал, был не против.

Эта поездка была ещё интересна непрерывными литературно-эмигрантскими конференциями, на которые нас приглашали. Одна из них проходила в роскошном, как дворец, итальянском посольстве. Но что главное — в эту нашу вторую поездку мы позна-

комились с людьми, которые впоследствии сыграли большую роль в нашей судьбе и в значительной мере помогли переносить тяготы жизни в эпоху Кали-Юги. Я говорю о секретаре французского ПЕН-клуба, писательнице и баронессе Даниэль Дорде и о президенте французского ПЕН-клуба Рене Тавернье, который был отцом знаменитого кинорежиссёра Бертрана Тавернье. Тогда французский ПЕН-клуб был центром литературной жизни Парижа. Потом, когда наступило то, что я называю годами падения, всё это померкло и изгладилось. Но в описываемый мною период это был последний блеск великой французской культуры и великого французского умения жить.

Даниэль Дорде впоследствии стала нашим самым близким другом из всей французской среды, настоящим другом. Это была поразительная женщина, благородная, аристократичная; в её жилах текла кровь Наполеона, но она этим не гордилась. У неё дома висел Пикассо, и сама картина «В центре Парижа» была глубоко французской, и свет европейской культуры пронизывал её. Даниэль очень любила Машу.

Сейчас я не припоминаю, передал ли я тогда Рене Тавернье «Шатуны» на английском, но в будущем, как я уже говорил, эта книга сыграла решающую роль в легализации нашей французской жизни. Возможно тогда, когда мы только познакомились, я отнёсся к этому предприятию с некоторым опасением, принимая во внимание личность Тавернье — ведь это был изысканный эстет, истинный француз, член литературной академии... Его реакцию на подобный роман, к тому же ещё и плохо переведённый, предсказать было трудно, но вряд ли стоило ожидать чего-то положительного. Так, видимо, мне казалось.

Как бы то ни было, эти люди приняли нас очень хорошо, что даже было немного странно — неизвестные Франции русские, приехали из Америки... Кто знает, может быть, они интуитивно

почувствовали в нас «своих», в известном смысле, конечно... Во всяком случае, французский ПЕН-клуб принял меня на ура, даже лучше, чем американский, с каким-то блеском... И вот, покрутившись по улицам Парижа, довольно основательно познакомившись с Володей Максимовым и Ириной Иловайской, главным редактором «Русской мысли», мы вернулись в США, уже абсолютно железно настроенные на переезд, хотя соблазны и окружали нас со всех сторон. Началась подготовка.

***

Готовясь, мы не переставали грезить о Франции, о той Франции, где были могилы первых русских эмигрантов, унесших Россию с собой на Запад и сохранивших её в своих сердцах. Они были истинными детищами великой Жар-птицы, о которой писала Сьюзен Мэйси и другие писатели, которые видели царскую Россию в образе Жар-птицы, стремящейся в небо. Недаром Рильке, который был в России до революции, сказал действительно великую фразу: «Есть такая страна — Бог. Россия граничит с ней». Воистину, это было так. Этим напоено всё наше — книги, дороги, храмы, деревни. Воздух и люди. Весь наш таинственный, безграничный простор. Бесспорно, в России было много негативного, но было в ней и такое... вряд ли это вообще возможно вернуть. Да, Россия граничила с Богом. Но потом всё смешалось в чудовищной бойне, которую развязала буржуазия ради своей прибыли, ради господства над другими, и наступила новая эра. Пришли завоеватели-большевики, и Россия ушла в подполье. Кто-то увёз её на Запад, как мы, кто-то сокрыл в своём сердце... Размышляя о патриотизме, я вдруг подумал, что он бывает двух видов: советский и русский. Я думаю, что во время Великой Отечественной войны против Гитлера и всей фашистской Европы восстал не только советский народ и совет-

ская страна, но и дореволюционная Россия — та историческая, тысячелетняя Россия. Всё это ожило в народе и всем миром двинулось против врага; красная и белая идея фактически соединились, восстало православие — на войне оно получило право на жизнь. Я был ребёнком, когда развивались эти события, и я видел, как люди переживали их, я видел и чувствовал, что был не только Советский Союз, была и Великая Россия, та самая Жар-птица. И она победила.

Но спустимся на землю. Несмотря на тёплый приём и на Монмартр, было слишком рискованно вот так бросить всё и лететь сломя голову в Париж... У нас там, разумеется, была масса знакомых, но что толку? Нужно было добиться права жить во Франции. Мы стали писать письма нашим знакомым в Париже, в которых сообщали, что хотим переехать жить в эту страну. А на горизонте уже брезжила Татьяна Горичева... Но я несколько забегаю вперёд, потому то на тот момент она ещё жила в Германии, где читала лекции о православии в современном мире.

Между тем у Маши состоялся разговор с заведующим отделом, где она работала. Он был очень хороший, добросердечный человек; кстати, французского происхождения. Она прямо сообщила ему о нашем решении уехать во Францию. Он покачал головой и произнёс:

— Вы сошли с ума.

Пусть так, но Маша прекрасно зарекомендовала себя в качестве сотрудника отдела, и шеф пошёл ей навстречу, согласившись в течение полугода сохранять это место за ней. Мы решили, что Маша отправится во Францию и будет искать там возможность устроиться, а я покамест останусь в Итаке, чтобы сразу не сжигать мосты. Кроме того, определённые шаги в направлении переезда мы уже сделали — к примеру, продали коттедж и машину. На мой взгляд, довольно смелые шаги. Я перебрался в скромную

квартирку, прихватив кошку с котом. И вот Маша улетела во Францию — искать для нас новое убежище. Я остался один. Что поделать — мы были истинными русскими скитальцами.

***

Оставшись один, я вёл довольно замкнутый образ жизни. Только и дел было, что звонить в Париж и дописывать «Московский гамбит». Периодически я общался с Ириной Антимоновой.

А Маша оказалась в Париже одна. Очарованность очарованностью, но вихри трудностей тут же закрутили её. Пришлось крепко опуститься на землю. По сравнению с нашей американской жизнью там была абсолютная неустроенность, всё нужно было начинать буквально с нуля. Ни дома, ни работы, ни документов. Благо, были люди, которые помогли, чем могли. Сначала Маше пришлось жить в тесной комнатушке на каком-то получердаке, но зато в самом центре Парижа. Там было тусклое окно и крошечный электрический обогреватель. Слава Богу, она была не одна — вместе с ней поселилась Таня Горичева, к тому времени уже перебравшаяся из Германии в Париж.

Через непродолжительное время пришла помощь от Владимира Максимова — Маша получила возможность работать в «Русской мысли», но это была полуофициальная работа, поскольку у неё не было документов, подтверждающих её право на жизнь во Франции. Тем не менее, практика неофициальных работ была довольно распространённой. Ирина Иловайская, шеф-редактор «Русской мысли», была для эмигрантов, как мать родная — это была истинная представительница белой эмиграции, которая, что и говорить, разительно отличались от советской. От Иловайской прямо-таки веяло духом старой, царской России…

Мои родственники рассказывали, что отличие советских людей от представителей дореволюционной России заключалось

в том, что до революции люди были жизнерадостными; в советское же время всеми завладело какое-то суетное напряжение... Жили, конечно, нормально, порой даже с весельем, но вот постоянной жизнерадостности, основанной на вере в Бога и на какомто свободном отношении к материальному миру, к успехам и прочей ерунде — этого уже не было. Человек стал слишком серьёзен в том, что касается заботы о хлебе насущном. До революции же продуктов было навалом; кроме того, они были дёшевы и доступны народу. Например, ведро водки стоило 10 копеек, а хлеб вообще ничего не стоил... Но я отвлекаюсь.

В общем, Машу во Франции приняли хорошо и решили помочь ей там устроиться. Активное участие в этом принимал Алик Гинзбург, поскольку у него были связи с профсоюзами; вот-вот уже всё должно было получиться, вот-вот Маша должна была позвонить мне и сказать: «Юра, Париж наш. Приезжай». Ан нет, сорвалось. Профсоюзы отказали, потому что одно дело быть беженцами из СССР, а другое — из Америки... Этим фактом дело значительно осложнялось. Ирина Иловайская и Володя Максимов со своей стороны делали всё, что могли, но тоже безрезультатно. А жизнь текла... Усилиями Иловайской Маша получила нормальное жильё — у неё теперь была комната в знаменитом медонском центре русской культуры. Медон — это пригород Парижа, где в своё время жила великая Цветаева — одна из четырёх гениев русской поэзии XX века (остальные — Блок, Есенин, Маяковский). В двух шагах — Париж, тут же, рядом, дом Бердяева, который философ завещал Русской Православной Церкви. Место это было весьма изощрённое в плане культуры. Замок же принадлежал ордену иезуитов. Религию в западном мире уже тогда стремились оттеснить на задний план по понятным причинам, а уж орден иезуитов — и подавно, но в их распоряжении был-таки этот полудворец, в котором они могли заслониться от агрессии мира сего...

Он был окружён стеной, там был прекрасный сад и роскошная русская библиотека. Здесь же располагались помещения для студентов и преподавателей; было прекрасное питание, не без кофе; вино — строго обязательно, потому что без вина французы не едят.

Но, увы, несмотря на то, что внешне всё было хорошо, наши с Машей звонки друг другу носили всё более минорный, даже истеричный характер. Мы тосковали и писали друг другу длинные письма. Прошло уже около четырёх месяцев с того момента, как Маша уехала. Я звонил ей, она подходила к телефону, говорила со мной, потом отходила, плакала, снова подходила, и мы снова начинали говорить… Права жить во Франции так и не удалось добиться. Эта неопределённость мучила нас — ведь решалась наша судьба. Жить в Америке… А мы так стремились в Европу. Но ничего не продвигалось.

Как-то вечером раздался звонок. Это была Маша:

— Юра, у меня ничего не получается. Это какой-то кошмар. Единственная надежда на тебя. Бросай всё и приезжай ко мне. Другого выхода нет.

И вот когда она произнесла эти слова, как будто пелена спала с моих глаз. Мне вдруг стало ясно, что американская жизнь закончилась безвозвратно, и начинается что-то другое — пусть пока неопределённое, но назад пути уже нет. Раздумывать было не о чем. Я начал собираться в дорогу.



Франция

В Париж я вылетел вместе с котом, кошкой и большим чемоданом рукописей. Полёт был сложный — сначала в Исландию, оттуда пересадка на Люксембург, и уже из Люксембурга — в Париж. Там меня встретила Маша, и мы понеслись в Медон, в обитель иезуитов.

Когда я очутился там, замок произвёл впечатление скорее шикарного, большого особняка, но всё-таки дух и стиль старых времён витали здесь. Был парк, не такой уж большой, но прекрасный, рядом — здание библиотеки и помещения для студентов и преподавателей. Мы расположились в комнате для преподавателей, и я познакомился с отцами-иезуитами.

Надо сказать, что иезуитский орден в наше время — это организация, которая не очень приветствуется западной либеральной властью, но всё же они находятся под крышей Ватикана и поэтому имеют какую-то почву под ногами. Сами отцы прекрасно владели русским языком, поскольку возглавляли институт русской культуры, который принимал студентов со всего мира. Студенты съезжались обычно летом, но были и постоянные, правда, мало. Обучение велось на русском языке, таким образом, изучались русский язык и литература одновременно. Приезжали студенты из Англии, Германии и, разумеется, из Франции. Надо сказать, что те люди,

которые работали в этом институте — католические священники ордена иезуитов — были весьма образованны. Согласно правилам иезуитского ордена духовное лицо обязательно должно иметь два образования — духовное и светское, поскольку цель его — жить в миру и пропагандировать католицизм и те идеи, которые связаны с иезуитским орденом.

Эти люди производили благоприятное впечатление. Особенно нам понравились отец Марешаль, француз, отец Андрей — самый близкий к русским, потому что он был наполовину русский, если я не ошибаюсь, — и отец Алексей. Другие отцы, впрочем, тоже оказались весьма приятными людьми. Возглавлял же всё отец Игорь, очень серьёзный немец.

В своих действиях иезуиты были очень лояльны — никакой русофобии. У них был скорее изучающий подход, и они никому не навязывали своих идей. Была церковь, в которой богослужения совершались по православному обряду, но она принадлежала к Ватикану. Сами священники давали преподавателям возможность совершенно свободно говорить на такие сложные темы, как Толстой, Достоевский и прочие. Кроме того, за обедом каждый преподаватель сидел в окружении своих студентов, и они разговаривали между собой по-русски — это было такое свободное и непринуждённое обучение русскому языку.

Иезуиты были отлично осведомлены о жизни в эмиграции и, в общем, держались дружественно и лояльно, без негатива. Жизнь и мысль текли тут свободно. Я думаю, они просто хотели понять, кто такие русские, как они мыслят и насколько глубоки их религиозные воззрения. И одновременно это был профессиональный институт, который обучал русскому языку и литературе.

Надо сказать, что студенты, приезжающие в Медон, были очень разные, но меня поразил один момент. Однажды летом приехали студенты из Англии, а я как раз в это время читал курс русской ли-

тературы XX века, и речь зашла о «Мастере и Маргарите» Булгакова. Вообще, английские студенты были люди интеллектуальные и внимательные, но что меня действительно поразило, так это их реакция на булгаковский роман. Она состояла в том, что они вообще не поняли, о чём там идёт речь. Это объясняется, конечно, не их низким интеллектуальным уровнем, а совершенно другим обстоятельством, а именно: всё то, что связано с мистикой, с христианством в глубоком его понимании, всё то, что относится к сфере надприродного, духовного, как-то не входило в их ум. Они каким-то непостижимым образом не осознавали, что происходит… Воланд… Коровьев… Что за чертовщина? Эти ребята были, конечно, весьма отрешены от всего, что связано с каким бы то ни было духовным поиском. И по этим студентам, увы, было видно, что живём мы уже в совершенно иной цивилизации, чем была до этого, в цивилизации чисто прагматической, и законы её таковы, что всё, что не приносит деньги — это балласт, и не более того. И в обучении, соответственно, внимание было акцентировано исключительно на тех моментах, которые можно выгодно использовать в своей профессии и в повседневной жизни. И кроме этого людей не интересовало абсолютно ничего. Современное образование лишало человека самой важной своей составляющей — того кругозора, благодаря которому можно почувствовать и величие Бога, и величие человека как образа и подобия Божьего. Мне сразу припомнился анекдотичный случай в Корнельском университете, когда профессор называл Беатриче гёрлфренд Данте и вообще с юморком говорил о дантовских путешествиях по аду и раю.

Я, конечно, был поражён этим совершенно фантастическим соскальзыванием из европейской и вообще мировой духовной культуры в абсолютно скучный и бессмысленный прагматизм. Само мышление становилось другим, оно мельчало, сужалось, усыхало… Ясно было, что дух старой Европы давно покинул нас… Зато эти студенты прекрасно разбирались в психологии…

Отцы-иезуиты отлично секли современную ситуацию и принимали её как данность. Всё, что было можно делать для католической религии согласно уставу их ордена, они делали. Я опасался нападок на православие, но ничуть не бывало. Отцы оказались очень хорошими, тактичными и умными людьми; они просто изучали атмосферу русской культуры, силясь понять, что такое русская душа. Я, надо сказать, привлекал их внимание именно в этом ключе. Однажды кто-то из них даже сказал мне про меня, что я очень русский человек и потому представляю для них интерес.

В общем, всё шло довольно гладко. Как-то раз в Медон приехал один замечательный молодой француз, разумеется, католик. Но казалось, что он вышел из каких-то очень древних времён католичества. Мы познакомились с этим уникальным человеком, и некоторое время спустя Маша обратилась к нему с просьбой помочь ей в изучении французского языка. Он с радостью согласился давать ей уроки, но тут же объявил, что французский-де надо начинать изучать с Пьера де Ронсара, поэта дальних веков. А это, фактически, старофранцузский язык. Причём заявлено это было с таким вдохновением, что вновь словно пронёсся дух древнего католичества. Это было совершенно не в духе времени… В общем, передо мной было чудо света — не прагматичный человек… А ещё Медон был отмечен царём Петром Великим. Он останавливался здесь, в замке, может быть, на день-другой, по каким-то своим делам.

Участие в нашей жизни Владимира Максимова и Ирины Иловайской было трудно переоценить. Кроме того, что у нас была крыша над головой, наша жизнь текла в очень благоприятном ритме. Атмосфера «Русской мысли», где работала Маша, была совершенно особой — это был самый значительный печатный орган эмигрантской России в Европе. В своё время газетой руководила княгиня Шаховская. Иловайской было, конечно, нелегко выступать в роли главного редактора, поскольку большая часть эмигрантской прес-

сы находилась под плитой американской идеологии, и можно себе представить, каково было русскому человеку дворянского происхождения нести это бремя. Здесь, как и в Штатах, от эмигрантов требовалось не только отрицательное отношение к коммунистической идее и Советскому Союзу, но и к России как таковой. Дух русофобии неизбежно и неотвратимо просачивался сюда.

В целом же атмосфера «Русской мысли» была не без интриг, но благоприятной. Маша трудилась там корректором. Было огромное количество статей на тему эмигрантской и русской культуры вообще, так что без дела сидеть не приходилось.

Как-то у нас с Иловайской зашёл разговор о политике, хотя она не очень любила затрагивать эту тему. Я высказался в таком духе, что ни коммунизм, ни капитализм меня, по большому счёту, не вдохновляют, и нужно найти третий путь. Она улыбнулась, развела руками и сказала:

— Юра, вся проблема в том, что третьего пути нет, есть только эти два.

Между тем шла весна 1983 года. Мы с Машей по-прежнему были нелегалами, и главной проблемой оставалось получить право официально жить во Франции. Казалось, что это подвешенное состояние никогда не закончится, и вдруг свершилось… И, конечно (как, впрочем, и всегда), не обошлось без литературы, и в данном случае – без французского ПЕН-клуба. Дело в том, что Рене Тавернье наконец прочитал «Шатунов». Он заявил, что это исключительный роман и добавил:

— Такой писатель должен жить здесь, в центре европейской культуры.

Затем он написал письмо Жаку Лангу, министру культуры Франции на тот момент, в котором сообщил, что я — писатель с большой буквы, а коль скоро так, то я просто обязан жить в Париже. Никаких мытарств, никаких поисков работы и томительных

блужданий во тьме, ожидания у моря погоды. Жить в Париже в самом истинном смысле этого слова!

Это обстоятельство повернуло ситуацию на сто восемьдесят градусов — из нелегалов мы превратились в полноправных жителей Франции, причём у меня был ещё статус писателя с большой буквы… Это ознаменовало начало совершенно новой, уже в строгом смысле парижской жизни. Мы с содроганиями вспоминали период времени, предшествующий этому повороту… Эта нескончаемая тревога. Очарование Парижа — и тем сильнее нас мучило это подвешенное состояние. Но, как и в случае с Корнельским университетом, всё решила литература, и это обстоятельство говорит само за себя.

Между тем начались пышные и шикарные встречи международного французского ПЕН-клуба с другими ПЕН-клубами, прежде всего, британским, и первая такая встреча, с роскошным обедом, состоялась в ресторане на Эйфелевой башне. Именно там проходили торжества ПЕН-клубовского характера, и туда слетались писатели со всего мира. Мы с Машей любили эти торжества.

Благодаря этому сдвигу мы, разумеется, сразу решили покончить со всем американским, я имею в виду разные мелкие дела, связанные с продажей коттеджа, с работами и прочее. Другого пути сделать это, кроме как отправиться в США, не было, и мы начали собираться в дорогу. Это было в начале 1984 года.

***

Невероятно радостно, легко и тепло стало у нас на душе, когда мы увидели нашего старого друга Джима Макконки, его жену и сыновей. Вот вам, пожалуйста, — цивилизация может быть чуждой, а люди — наоборот, такими удивительно близкими. Рады мы были видеть и профессора Эзергайлиса, и, конечно, Джорджа Гибиана и тех милых девочек, с которыми Маша работала в библиотеке.

Мы потихоньку собирались, делали всё что нужно, и, конечно, нами владели воспоминания об этой всё-таки удивительной жизни в Америке. Здесь мы познакомились с целой цивилизацией, с разными её слоями, в том числе и с теми, которые были этой цивилизацией недовольны.

Мы повидались с Ириной Антимоновой; Тони Дамиани был болен, но он закончил книгу, касающуюся природы Абсолюта, и она увидела свет. Ирина говорила, что Тони чувствовал, а может, и знал, что для него настало время ухода в другое состояние, к которому он стремился здесь, в этой жизни. Тут мне вспомнилось, как однажды, под вечер, мы с ним сидели в каком-то уютном кафе и говорили на наши темы, и он поднял взгляд в окно, за которым по улице шли обычные люди, и как-то горестно сказал:

— Они обречены.

Это-то ясно. Но я возразил, что потерян только *этот* шанс, но он может повториться совершенно в другой ситуации, поскольку мир, если не бесконечен, то огромен как в смысле времени, так и в смысле пространства. Сидя с Тони в этом кафе, я с какой-то мимолётной горечью понял, что он был человеком абсолютно традиционалистского направления; он всегда поступал согласно традиции — традиции адвайта-веданты — великой индийской традиции, как метафизической, так и философской… Но в нём не чувствовалось ни одного движения, в котором он попытался бы пойти куда-то дальше, в некую запредельность. Но ведь Бог бесконечен, по крайней мере, в том смысле, в каком говорил Рене Генон. И от человека, каких бы он ни достиг высот, всегда что-то будет скрыто, всегда будет тайна… Однако отдадим должное традиционализму — сила его бесспорна, он проверен тысячелетиями и ведёт к тому, без чего абсолютно ничего невозможно сделать — к освобождению, к духовной реализации, что обеспечивает вечную жизнь. А там видно будет.

Ещё некоторые воспоминания владели мной, пока мы завершали свой американский путь. Вспоминал я этот бушующий Нью-Йорк, все эти страсти, людей, которых мы там повстречали, не говоря о тех, которых мы знали по России, наших русских друзей, приятелей, знакомых… В общем, мы обернулись меньше чем за месяц и перевезли всё необходимое в Париж. Книги отправили морским путём. И на этом, собственно, закончилась наша Америка. Когда мы вновь оказались в Медоне, Маша просто вся светилась. Она вновь стояла на французской земле, смотрела на этот замок, на всю эту окружающую красоту, но уже другими глазами — это было уже не то отчуждающе-тревожное очарование. Теперь она понимала, что это всё — её… Обычно она этого не любила, а сейчас вдруг изъявила желание пообедать в общей столовой, вместе со всеми, со студентами и преподавателями. Для Маши был очень важен момент красоты. Так уж была устроена её душа — красота ей была необходима как воздух. А красота в Париже была.

Итак, начиная с 1984 года мы окончательно обосновались в Европе, и стартовала нормальная французская жизнь без всяких метаний. К 1985 году мы перебрались в квартирку в Париже, недалеко от центра, и всё несколько оживилось. Параллельно я читал лекции в Медоне, а круг наших знакомств неуклонно расширялся. Он был необычайно многообразен — ведь Париж был центром интеллектуальной русской эмиграции, и здесь ещё витал дух первой её волны.

Одной из встреч, благодаря которой мы погрузились в жизнь первой эмиграции, была встреча с Рене Гера, известным человеком во Франции, который преподавал русский язык и литературу в знаменитом институте восточных цивилизаций в Париже. С французской точки зрения, Россия относится не к Западу, а к Востоку, и мы изучались в этом институте наряду с китайской, индийской, арабской и другими восточными цивилизациями. Гера сразу пригласил нас к себе домой — он почувствовал, что я по духу своему не ан-

тисоветский, а внесоветский человек. Разница налицо. Он почувствовал, что я сродни той белой эмиграции, с представителями которой он общался на протяжении всей своей жизни. Этот человек был настоящим фанатом белой эмиграции, фанатом старой России и её культуры, и он много сделал для её сохранения. Он был коллекционером, и у него дома хранились бесценные рукописи Бердяева и лучших писателей эмиграции, а также картины парижской волны прославленных русских эмигрантских художников. В общем, его жилище представляло собой живой музей русской культуры, потому что первая эмиграция унесла русскую культуру во Францию. Ведь многие из этих имён, включая Бунина, не говоря уж о Мережковском, были запрещены в Советском Союзе.

Рене с детства вошёл в русскую культуру. Каким образом? Он познакомился с русскими эмигрантами, и они произвели на него такое глубокое впечатление, что он стал изучать русский язык, русскую культуру и сблизился с русской белой эмиграцией в Париже, которая представляла истинную старую Россию. Он был поражён рассказами этих людей, их литературой, впоследствии стал студентом славянского отделения и сблизился с такими известными писателями эмиграции, как Зайцев, Одоевцева и другими, и прекрасно овладел, конечно, русским языком. Одновременно он был человеком правых убеждений.

Когда мы с Машей впервые оказались у него дома, мы были просто поражены этими коллекциями, их богатством и значимостью для русской культуры. Здесь были редкие издания эмигрантских поэтов. Общение с представителями белой эмиграцией совершенно преобразило Рене — он стал её адептом, фанатом, и кроме того, он очень сочувствовал их, в общем-то, нелёгкому, а иногда просто бедственному положению. Дело в том, что после войны во Франции стали преобладать левые настроения, особенно среди интеллигенции. Во-первых, на коне оказалась компартия

Франции; она была представлена в университетах значительной силой, и довольно известные профессора-слависты ездили в Москву, где им предоставляли объёмный материал по русской культуре, поэтому они, так сказать, блистали в парижских университетах. А на эмигрантскую литературу вообще не обращали внимания, считая её литературой прошлого, литературой упаднической, литературой как бы исчезающей. Всё внимание этих левых профессоров-коммунистов было сосредоточено на советской литературе. Но русская классика — это само собой, она вошла в мировую литературу и представляла собой великий облик России. Это было неприкосновенно, и в Париже были блестящие специалисты по русской классической литературе, например, Жак Котто — известный достоевед Франции. Но отношение к эмигрантской литературе было совсем другое, чем к великой русской классике и к советской литературе, которая по политическим причинам считалась достойной изучения. А Рене как раз пропагандировал эмигрантскую литературу, и он глубоко проникся жизнью русских эмигрантов и духом дореволюционной России, её величием, её красотой, её достижениями. И ему было обидно и непонятно такое отношение к эмигрантской литературе.

Надо сказать, что основная масса французской интеллигенции была левого толка, в духе гошизма. Другими словами, Сартр и иже с ним являлись основой интеллектуальной жизни Франции. Но при всём этом Рене впоследствии удалось посодействовать моему трудоустройству в этот институт.

***

Одной из прелестей парижской жизни являются кафе, это общеизвестно. Но когда погружаешься в этот мир всем своим существом, это, надо сказать, что-то... Парижские кафе необычайно уютны и атмосферны; вас не оставляет ощущение, что вы перенеслись

в начало XX века или даже в конец девятнадцатого. Здесь можно отключиться от всех бедствий бытовой жизни, выпить чашечку кофе, бокал вина, послушать музыку, поговорить с хорошими людьми. Это «вечерняя» сторона. Другая сторона «дневная» — свой день француз начинает с того, что заходит опять же в кафе, выпивает 2–3 чашки кофе, некрепкого, для тонуса, и потом отправляется на работу. Таким образом, жизнь в кафе продолжается 24 часа, в разных её формах. Мы, конечно, тоже приобщились к культуре кафе, и нас особенно радовало, что это было не чем-то из ряда вон выходящим — это была такая красивая повседневность.

Истинным хозяином русской парижской жизни в эмигрантской среде был Алексей Хвостенко. В каком смысле «хозяином» — он, приехавший из Москвы и живший когда-то в Санкт-Петербурге, не подчинился никакой осознанной необходимости, он жил как в богеме, совершенно не считаясь с тем, что происходит. Есть ли у него деньги, нет их, — он жил, как поэт. Он был и художник, и скульптор, и музыкант, писал пьесы, стихи, песни. Мы были друзьями и часто встречались — и у него, и у нас, и в бесчисленных кафешках. Это был человек полёта нежного, слегка мистического и совершенно бескорыстного. Общаться с ним было одно удовольствие. Потом, когда осуществился прорыв и началась перестройка, ребята-рокеры из Москвы и Питера просто обожали его. Они ночевали у него на квартире, и там стоял дым коромыслом, всё кружилось… Он пил очень много, но по-французски, то есть никогда не напивался, а всегда был в лёгком отключении. А если и в нелёгком, то всё же не до конца. Поэтому он всегда жил, не теряя себя. И так же, кстати, он жил в Москве и в Питере — подчиняясь исключительно своей интуиции, зову своей поэзии, как будто быта и обыденной жизни с её заботами просто не существует. Он работал во Франции даже маляром. Маше он по этому поводу сказал:

— А что ещё делать поэту в Париже?

Он был очень остроумный, весёлый, компанейский. Он мог говорить на любую тему, и поэтому вокруг него крутилась вся эмигрантская парижская богема. Одним из самых удивительных качеств Хвостенко была, на мой взгляд, та необыкновенная, почти райская лёгкость, с которой он проходил по жизни. Он был весел в самом райском смысле этого слова, это не было грубое веселье, это было веселье свободной души. Он очаровывал людей и был лишён малейшей враждебности по отношению к ним. Он был поэтом, который, пожалуй, должен был жить, скажем, в Петербурге начала XX века, а не в грозной атмосфере современности, и эту грозность и тревожность он как бы не признавал. Для него был только полёт — полёт жизни, полёт вина, полёт дружеской беседы, и он жил, не обращая внимания на быт, не думая о деньгах и не зная всех тех тупых забот, в которые погружён современный обитатель большого города. Он нашёл так называемый «сквот» на Рю де Паради — место для «маргинальных» художников и поэтов. Это был пустующий дом, где собиралась самая разношёрстная публика, и когда уже начиналась перестройка, стали приезжать люди из России, как бы чем-то озарённые… Он принимал абсолютно всех, никакие политические убеждения и прочая чушь для него роли не играли. Он умел видеть в человеке самое лучшее, что в нём было. У нас с Машей были с ним очень тёплые отношения; попросту говоря, это был один из самых наших близких людей… Нам, конечно, было не угнаться за его богемной жизнью, поскольку мы оба работали, но по вечерам начинались тусовки, что слегка напоминало московскую жизнь, только без эзотеризма и серьёзности. Этого в эмиграции не хватало. Если сравнить Хвостенко и его полёт с тем, что было в Москве, с полётом, скажем, окружения Южинского… Там ведь тоже все презирали быт и жили только искусством, поэзией, жили всеми возможными духовными прозрениями, которые только были им доступны. Ну разве Головин

не был в совершенно потрясающем полёте? Однако полёт Хвостенко отличался от полёта людей, с которыми я общался в Москве, на Южинском. Его полёт был светлый, беззаботный, райский и весёлый в лучшем смысле этого слова. Конечно, полёт южинских персонажей отличался от Алёшиного своим качеством. Скажем, полёт Головина был слишком серьёзен, невесел; он обладал аурой гротеска. Смех — да, был, но больше было глубины и тяжести, что отличало от Хвостенко почти всех. Была в наших полётах тяжесть, было контролируемое отчаяние, что ли… Лучше сказать, что это было отчаяние при знании того, что мы всё равно спасены. Наш полёт был на грани между бездной и Богом. Другими словами, это был философский, метафизический полёт, а не райский. Таким райским полётом обладал только Хвостенко, а наше — это, конечно, было совсем другое. В качестве символа южинского полёта можно представить ситуацию, когда, например, читают стихи Блока в каком-то предсмертном бреду. Ощущение того, что этот мир напоминает бред, было очень распространённым в нашей среде. Это и радовало, и умиляло, и в то же время казалось чем-то грозным, эсхатологическим. То есть вся атмосфера Южинского была серьёзно-мрачноватой и в то же время бесконечно уверенной в абсолютной безграничности духовных возможностей человека. Каким-то образом ад и рай присутствовали в наших полётах. Действительно, читать Малларме или Бодлера, лёжа на рельсах, по которым на тебя несётся поезд, это, пожалуй, символ; это было великим символом всех наших переживаний. Вспомним Головина:

И с обнажённого лезвия
Теки, моя кровь, теки.
Я знаю: слово «поэзия» —
Это отнюдь не стихи.

Это был совсем другой подход. В то же время полёт Хвостенко был уникален — только он обладал этим полётом, только он обладал способностью не видеть мрака этого столетия, и это было похоже на чудо. Но на самом деле это было не чудо, а свойство его души. Мы же с ним встречались ещё в Москве, когда он только приехал из Петербурга, и тогда он был, конечно, таким же, как и всегда. Но при всей «тяжести» и «угрюмости» нашего полёта, дух неконформистской Москвы и в том числе дух Южинского круга никогда не был заражён депрессией, безысходностью, кафкианством. Кафку мы, конечно, более или менее чтили, но кафкианство не было нашим свойством, безысходность никогда не была нашим знаменем, даже при такой фантастически-отчаянной ситуации XX века, когда люди отошли и от веры и вступили в эру существ, брошенных в бездну, лишённых всякой почвы под ногами и неба над головой. Они могли не замечать этой бездны, но она была, и она имела возможность поглотить их после их жизни. Я уже не говорю о том, что творилось на поверхности — об этих бесконечных войнах, убийствах, чудовищных изобретениях типа атомной бомбы и прочее, и прочее. Для XX века смесь кровожадности с идиотизмом в духовной сфере была нормой жизни. И вместе с тем в этом, казалось бы, аду жили люди, как бы потерявшие веру в Бога. Однако внутри они оставались такими же христианами, как их отцы и деды, жившие в великой имперской России. Ощущение чего-то прекрасного, таинственно-родного никогда не умирало в народе. Поэтому я любил пивные — там открывалась душа. И всегда было ощущение величия России, одновременно принесённой в жертву, потому что Россия стала жертвой восстания низов, красного восстания против богатых. Это знамя, которое пронеслось по всему миру, принесло пользу многим народам, освободив их от страшного гнёта, но для России это была жертва — мы жертвовали собой ради других — просто так получалось. Но не так важны причины, не так важно, то, что случилось, потому что, если это случилось, значит, это бы-

ло предопределено. Россия должна была пройти это испытание. Для России испытанием стал весь XX век, и я надеюсь и верю, что она это испытание выдержала, потому что это была подготовка для создания совершенно новой, уникальной цивилизации.

Стремление в запредельность, описанное, в частности, в «Шатунах», стремление дойти до конца в мироощущении, в мировоззрении, характерное для Южинского, было вызвано описанной ситуацией. Наиболее мрачное впечатление, конечно, производил насильственный атеизм. Это, пожалуй, было худшее из всего, что только можно придумать, потому что можно расстрелять человека, но самое страшное — это убить его душу. К счастью, для очень многих это было лишь псевдоубийством, потому что душа всё-таки оставалась живой. Я надеюсь, во всяком случае, что большинству людей удалось пройти это страшное испытание мраком небытия, поскольку атеизм не представляет собой ничего, кроме мрака небытия; он есть полное торжество смерти, по сравнению с которым сам Дьявол кажется эдаким оптимистом и глашатаем жизни — пусть, так сказать, «нехорошей», но всё-таки жизни. А атеизм-материализм, который родился на Западе в начале XIX века и пришёл к нам в облике марксистской революции, был самым безысходным тупиком, в который только мог зайти род человеческий. Конечно, это всё рассеется под влиянием будущих явлений, благодаря которым станет очевидным этот тупик и его фальшь, потому что это всё-таки мнимый тупик — атеизм не отражает реальности, это просто выдумка людей. Но выдумка это страшная, и она является яркой иллюстрацией того, насколько глубоко может пасть человек.

И в такой вот обстановке мы на Южинском творили, пили пиво, вино, водку и влюблялись бесконечно, потому что женщины, окружающие нас, были очень интересными и загадочными. Какое уж тут кафкианство… Это была полнота жизни. Но это была полнота крови на обнажённом лезвии.

Как я уже говорил, завершая эту книгу, я должен буду подвести некий итог, и вот там мы уж постараемся по максимуму углубиться во всё то, что произошло в XX веке, а сейчас пока нас увлекает поток событий, встречи с людьми… Тогда, в далёкие 60-е мне казалось, что этому потоку нет конца, но сейчас уже большинство людей ушло из этого мира, хотя они, естественно, живы — в ином состоянии. Неконформистское подполье было огромным, словно половина Москвы погрузилась под землю, и в нём было много разных кругов, отделений, уровней, коридорчиков и закутков. Всё это причудливым образом переплеталось, и там, в этом подпольном мире, была масса интереснейших личностей, искавших в искусстве каких-то радикальных решений. И чего уж тут точно не было, так это власти золотого тельца. За это ручаюсь. Но было ощущение, что так называемое «новое время» (начиная с Французской революции, которая была, фактически, прообразом большевистской) представляет собой борьбу одних заблуждений против других. Одно заблуждение боролось с другим, побеждало, потом вступало в конфликт с третьим заблуждением — и вот получалась эдакая бесконечная цепь кроваво-безумных заблуждений. Главная беда была в том, что в начале XX века эта ситуация воспевалась учёными-циклопами, я уж не говорю о политиках, как начало новой эры; это приветствовалось как заря, как доказательство того, как всемогущ человек, что во всём мире будет мир, процветание, религия отойдёт на задний план и её место займёт наука. То были уже явные симптомы идиотизма, который свойственен даже интеллектуалам, если они циклопы, а уж о других представителях рода человеческого нечего и говорить. Только поэты, провидцы и, может быть, простые люди чувствовали приближение роковых дней, роковой эпохи, которую Генри Миллер назвал «временем убийц». Были эпитеты и пострашнее. И тем не менее, всё равно это было торжество жизни, потому что жизнь торжествует даже на грани смерти, танцует свой последний танец.

В значительной мере всех нас сотворила русская литература. Я уже писал об этом, но хочется вновь коснуться этой темы, поскольку здесь был какой-то очень мощный мистический момент. Он состоял в том, что для меня такие люди, как Толстой, Достоевский, Гоголь, Блок, Есенин, Лермонтов (Пушкина я воспринимал несколько по-другому — как объективное солнце)… я странным образом ощущал их присутствие. Какого рода это было присутствие? Во-первых, понятно, я ощущал их через книги. Это были настолько близкие и понятные мне люди, и в то же время в них была заключена какая-то тайна, поскольку они присутствовали в ином мире. И люди такого уровня творчества, наверное, образовывали в том мире какой-то свой план, свой мир, своё особенное бытие, потому что они были теми, кто обладает даром творчества, а им обладает только Бог и человек. Причём даром творчества в духовном плане, в творении людского характера, людской глубины и раскрытия этой глубины в своих произведениях — именно так действовала русская литература; она была необычайно философична по сути. Мистическое ощущение состояло в том, что я как-то чувствовал, что эти люди живые; они в потустороннем мире, но они живые; я ощущал их как своих близких. И, несомненно, это относилось ко многим другим. Поэтому мы жили в такой атмосфере, в которой эти великие люди были нашими друзьями, нашими сопутниками; они были теми, кто стоял в начале нашего пути. Они что-то заканчивали, какой-то духовный поиск, и мы должны были этот поиск продолжать. Они были нашими отцами, которые говорили нам: продолжайте, идите именно так, туда. Они указывали, куда идти. И величайшее преступление советской власти заключается в том, что великий дух русской культуры был ею оскоплён. Конечно, величие русской классики признавали, ей ставили памятники, но в силу того, что была обрезана духовная вертикаль и всё то, что относится к высшему духовному поиску, этих великих гениев стали интерпретировать ис-

ключительно в социальном ключе, и тем самым был нанесён страшный удар по русской литературе, которая стала называться уже не русской, а «советской» или «антисоветской», но это была уже не та русская литература, которая закончилась Булгаковым и Платоновым. После них уже был обрыв.

Лев Толстой, например, изучал практически все религии и философские течения, доступные в XIX веке, хотя тогда ещё далеко не всё было переведено и доступно для людей. И не случайно Толстой и Достоевский считаются не только великими писателями, но и великими философами. Каждому, кто имеет глаза, очевидно их влияние на западную философию, на экзистенциализм, например. И эту мощную, полноводную, бурлящую реку отвели от советской литературы, и несмотря на то, что многие её представители были талантливыми людьми, они были лишены необходимого источника питания, и жажда их была страшной и непонятной. Преемственность была разрушена. Всё, что касалось духовной составляющей человека — самое главное — не изучалось в школах, новое поколение не знало этого, и некому было об этом рассказать. А ведь в XIX веке, просто хорошо зная литургию, люди могли глубоко погрузиться в дух.

Словом, удар по духу был нанесён сокрушительный. Безусловно, предпринимались попытки преодолеть это жуткое состояние, но это было чрезвычайно трудно сделать, не имея самого важного — той безграничной широты и свободы мысли, которой обладали великие русские писатели. В конце концов способы выйти из этого лабиринта нашлись, но совершенно в другом ключе и как бы отдельными индивидуумами. Но здесь важны не отдельные прорывы, которые, конечно, были, хотя и своеобразные (уже после падения коммунизма и в 60-е годы), но важен общий поток литературы, общий поток мыслительной энергии. Я надеюсь, что сейчас, в XXI веке, с началом возрождения России, этот поток восстановится и реанимируется то уникальное поле. Дело в том, что явление

русской литературы XIX века уникально, и эта литература продолжает влиять на весь мир; это уже мировое достояние. С моей точки зрения, будущее русской литературы зависит от того момента, когда от отчаяния она перейдёт к озарению, к возрождению, к совершенно новому импульсу, к чему-то всеохватывающему. Это уже будет не отдельный прорыв, а целое событие, переворачивающее всю духовную реальность, поскольку XXI столетие — это, без сомнения, время новейших открытий, катаклизмов и событий, которые к концу века изменят лицо этого мира. Поэтому как будет культура реагировать на эти вызовы времени (я имею в виду высшую культуру, а не то, что сейчас существует на Западе и так далее), как осмыслится с Божественной высоты всё, что происходит с этим родом человеческим, — тут как раз открывается непаханое поле не только для литературы, но и для искусства вообще. Переосмыслить, пересмотреть, переоткрыть и, главное, внимательно разглядеть и дать правильную оценку тому, что происходит, увидеть то, что будет происходить в мире — вот нелёгкая задача новой литературы. Потому что новая цивилизация обязательно грядёт — ничего постоянного в мире нет. Но об этом потом.

Конечно, наши писатели конца XIX — начала XX века, такие как Толстой, Блок, Достоевский, видели приближающуюся катастрофу, в отличие от большинства людей. А учёные восхищались прогрессом. Восхищались — и довосхищались до того, что одна из проектировщиц атомной бомбы, осознав, что проект вполне реализуем и к чему это может привести, покончила с собой. Но это, конечно, исключение. В основном был оптимизм.

Вдумчиво читая высказывания Толстого, стихи Блока, например, поэму «Возмездие», мы видим, какой интуицией обладали эти люди. Они глубоко презирали этот так называемый прогресс, который не нёс ничего, кроме духовной и физической деградации. Конечно, существует и другой прогресс, «правильный», «об-

легчающий», «позитивный». Он может приветствоваться. Но вряд ли это относится к современному миру. Толстой всё это прекрасно видел. Единственно, он предложил вариант спасения, который оказался выше уровня людей, — он предложил любовь. Однако человечество не было способно осуществить это, не смогло, так сказать, остановить космическое течение мрака. Тем не менее, влияние Толстого в Индии и его влияние на индийскую ненасильственную революцию было огромно. Здесь было кое-что достигнуто каким-то чудесным образом.

Возвращаясь опять к Алёше Хвостенко, я припомнил один наш разговор. Мы сидели тогда в каком-то уютном кафе, и Маша говорила об экономическом спаде, охватившем Европу, а я поддерживал: да, мол, действительно. Алёша вздохнул и сказал:

— Слушайте, а вот конкретно на вашей жизни это сказывается?

Мы развели руками и сказали:

— На нас пока вроде ничего не сказывается.

Тогда он сказал:

— Ну так и плюньте на всё и не обращайте внимания. Мало ли, что происходит.

Мы согласились, рассмеялись, и беседа потекла по руслу обычной парижской жизни.

***

В среде парижской эмиграции было много интересных личностей. Одна из них — Эдик Зеленин, художник-авангардист. У него на квартире (как и у Хвостенко) тоже собирались богемные тусовки, только в народно-русском ключе — с пирогами, с пивом, со щами. Это тоже было большой отдушиной для эмигрантов. К Зеленину захаживало много народу — и всякий раз пелись песни и велись разговоры на русские темы; всё вращалось вокруг тёпло-уютной жизни, но самому Эдику жилось отнюдь не так. У него никак не получалось

устроиться. Мало быть талантом, необходимо адаптироваться, особенно если речь идёт о загранице. Но сборища на этой квартире были изумительны. Кто только туда не приходил! Даже знаменитый цыганский мэтр русских ресторанов в Париже Алёша Дмитриевич пел там. В общем, царила атмосфера отдыха и веселья; было общение с самыми разными людьми, с которыми невозможно было встретиться где-то в другом месте. Сам хозяин был молчалив, смотрел на всё своими круглыми глазами и потом, когда все уходили, видимо, ночью, писал свои сюрреальные картины. Так что отключение у него в известной степени тоже было, но… В отличие, скажем, от Алёши Хвостенко, не умел Эдик отключаться от так называемой жизни. Оно и понятно — таким даром нужно обладать. Поэтому Алёша никогда не оказывался в безвыходном, гибельном положении — у него всегда было, на что жить, иногда даже весьма и весьма, иногда поменьше, но он никогда не проходил печально известный путь некоторых эмигрантов. Хвостенко не жил, а летал, потому к нему и тянулись люди — вокруг него всегда как бы позванивала аура лёгкого приятного отключения. Поэтому, когда он однажды тяжело заболел и перенёс несколько операций, возле больницы, где он лежал, собралась огромная толпа народу — люди переживали за него. Французов это повергло в полное изумление — у них было не принято собираться у окон лечебного учреждения и массово болеть за своего больного. Но всё кончилось благополучно.

Замечу, что мы с Машей не особенно тянулись к политическим диссидентам; нас больше интересовали люди искусства, в частности художники, которых в эмигрантском Париже было много: Оскар Рабин, Олег Целков, Боря Заборов, ну и, конечно, Михаил Шемякин.

Шемякин на тот момент издавал и редактировал журнал «Аполлон-77», в котором помещались произведения многих известных нонконформистских деятелей России; там был и Лимонов, было много

ярких художников, поэтов и писателей ещё из первой волны эмиграции. Короче говоря, надёжный, старый альманах. И там же Миша опубликовал свою статью (правда, подписанную другим именем) о моём творчестве. Статья была настолько глубокая, настолько в ней было мощно проникновение в моё творчество, что меня это просто поразило; я был в восхищении, что он просёк такие этажи глубин. Причём он меня на тот момент ещё не знал лично, просто прочитал мои ещё не опубликованные рассказы, и его унесло. Таким образом, он уже заочно стал моим другом. В свою очередь, его утончённый, блистательный талант был весьма близок мне. Шемякин обладал удивительной, какой-то вечно вспыхивающей, неутомимой энергией; он был озарён своей успешной парижской жизнью, и это оказывало бодрящее действие на других… Познакомились мы также с его женой Ривой и дочкой Доротеей, которая впоследствии иллюстрировала одну мою книгу на русском языке… Такие изысканные ценители искусства, как японцы, восхищались картинами Шемякина, но одного они не могли взять в толк: как можно за такие картины вытурить человека из страны. За такие картины выгонять — абсурд, ни одно государство до такой нелепости не может дойти. В общем, налицо была ситуация глухого непонимания.

Шемякин был блистателен не только в своих картинах, но и в жизни, которая носила, вообще-то говоря, сюрреалистический характер. Что-то в нём было от великого Серебряного века и вместе с тем он был очень чувствителен ко всему новому; в общем, это был настоящий русский человек, который попал в эстетское окружение и который изначально был эстетом в лучшем смысле этого слова. У него была замечательная сестра Татьяна, была здесь и мать его, Юлия Николаевна; мы дружили с обеими женщинами и, когда Миша был по каким-то своим делам в Америке, часто общались. Мать Михаила была тоже из артистического мира, была знакома с великой Руслановой, песни которой лично меня всегда трогали до глу-

бины души. Что-то в них было такое, чего не хватало во многих песнях — настолько они были русские, глубокие, и она их исполняла с какой-то великой интонацией. Недаром Жуков поставил её во главе концерта Победы, когда наши войска взяли Берлин.

Что касается Оскара Рабина, то он, живя в Париже, сделал отличную художническую карьеру и внёс интересный момент в современную живопись.

У него выходили большие альбомы в Италии и в других странах, но ещё в Москве он прославился своими мрачноватыми сюжетными картинами, чуть-чуть напоминающими Ковенацкого. Например, одно полотно изображало пропащего мужика, который мочится около одинокого, заброшенного забора. Сзади стоит милиционер, положив тяжёлую руку ему на плечо. И подпись: «Нарушаете, товарищ».

Мы с Оскаром, по московскому обычаю, вели беседы на отвлечённые, метафизические темы, и он однажды заявил:

— Не понимаю я, почему так страдает род людской. И никогда не пойму.

Я на это ответил:

— Не нашего это ума дело, Оскар.

Он расхохотался:

— Да уж, точно не нашего!

Я ещё прибавил, что, конечно, можно говорить о свободе воли человека, данной ему Богом, о том, что в страданиях своих виноват он сам и прочее, и прочее, много всяких теорий можно сюда подвести (поле-то широко), но по большому счёту, если вглядеться в бездну вселенной, в бездну природы Бога, который бесконечен, то получается, что действительно, не нашего крохотного и оскоплённого, к тому же, ума это дело. Сама сила страданий указывает на их необходимость, а то и какую-то даже святость; это настолько глубоко и настолько таинственно, что какой уж тут ум

людской… Почему страдает человек? Так надо, и всё тут. Оскар согласился с моими доводами в пользу Бога.

В общем, подобные разговоры перекочевали вместе с нами в Париж.

Дружили мы в то время также с Олегом Целковым, и с ним у меня нашлось больше точек пересечения, нежели с Оскаром. Олег был, конечно, совершенно специфическим человеком. Когда он писал, то отключался полностью. Он входил в свою мастерскую, разумеется, с бутылкой вина, и говорил:

— Я пью или хорошее, или очень хорошее вино.

Он пил дешёвое вино и рисовал своих монструозных обывателей, чудовищ в человеческом облике. Но всё же тоскующих чудовищ. Многим их было жалко, как я заметил.

Возможностей для встреч была масса, потому что, пусть и частично, но неконформистская Москва переселилась-таки в Париж. Хорошие отношения были и с Володей Максимовым. Поскольку я не был вовлечён в политику, то стоял вне круга его главных интересов, но мы встречались у него дома и, в общем, отношения были очень тёплыми. Кроме того, он чувствовал, что я люблю Россию, и он тоже любил Россию, однако чувствовалось идеологическое давление, оказываемое на него, и ему тяжело было выражать эту любовь и говорить об этом.

***

Постепенно, начиная со времени нашего переезда из Медона в Париж, вокруг нас образовался тесный, камерный, сугубо наш круг друзей. Самыми близкими были трое — Татьяна Горичева, Сурен Меликян и Аида Хмелёва.

Татьяна Горичева… Я просто преклоняюсь перед этой женщиной. Когда-то она была студенткой Ленинградского государственного университета, училась на философском. Она настолько

глубоко проникла в бездны западной философии, что свободно переписывалась с Хайдеггером ещё при советской власти. Естественно, подобной вольности простить ей не могли, начали вызывать, теребить — мол, как же так, вы, советская студентка, глубоко изучали марксизм… Маркс тогда был программным философом, Бог с ним, — и тут вдруг Хайдеггер — столп философской мысли буржуазного Запада. Какое-то время Татьяне удавалось как-то лавировать между двумя философами, но успеха это не имело. Кроме того, она к тому времени уже вошла в лоно православия и глубоко погрузилась в нашу великую религию. Всё это закончилось эмиграцией.

Сначала она жила в Германии, и когда мы только начали налаживать контакты с Европой с целью переехать туда, первой откликнулась именно Таня — звала нас в Германию, где к тому времени обосновалась. Но для нас наиболее приемлемой была Франция. Когда я приехал в Париж, сразу после Машиного звонка, я как раз застал их с Татьяной вдвоём, в этой крошечной чердачной комнате. Они уже успели стать близкими друзьями.

Итак, Татьяна стала настоящим другом моей жене, потому что их объединяло православие, любовь к России и тот уровень духовности, которого они достигли; их интересы были общими. По приезде я сразу же сдружился с этой замечательной женщиной; она была замужем за сербским богословом, который, во всяком случае, был глубоко православным, ищущим человеком. Но сама Таня была очень свободна в смысле широты интересов, которые включали западную философию, экзистенциализм и прочее, иными словами, она была творческим человеком. Мы очень сблизились, и я сначала чувствовал её как-то двойственно. С одной стороны, у меня было ощущение, что она настолько живо, выражаясь языком Бердяева, почти «физиологически» вобрала в себя православие, что казалась мне каким-то ангелическим существом. Однако она сама отвергла эту мысль, потому что быть ангелическим существом в нашем мире

практически невозможно. Но другой её облик — был облик философа. Во всяком случае, это сочетание свободного философа и православного богослова было изумительным.

Татьяна быстро сделала писательскую карьеру. Она писала о православии, стремясь «проникнуть» этой религией западного читателя, и, надо сказать, имела огромный успех. Её книги, освещающие тот или иной аспект православного учения и православной жизни, выходили большими тиражами в Германии, в Греции, в Италии. Она выступала с лекциями по всей Европе, посещала даже Бразилию, выступала по немецкому радио, общалась со священниками самого высокого ранга, и темой её выступлений было православное сознание и современный мир. Тема, надо сказать, великая, страшноватая по существу. Но были и другие темы. Она, например, очень любила животных, и одной из трогательных тем её выступлений была христианская религия и отношение к животным. Татьяну окружала аура религиозной проповедницы. И она действительно глубоко задевала души людей, потому что была абсолютно искренней; она обладала способностью возвышать человеческие души. Наибольшей популярностью она пользовалась в Германии, греки же её просто боготворили. Это давало ей энергию, она чувствовала, что нужна, что верующие люди Запада раскрываются перед ней. Это ощущение раскрытия душ было очень сильно, по её собственным словам, ей казалось, что Россия вдруг начинает невидимо и мощно присутствовать. Во Франции Татьяну окружали французские христиане, и в её среде был человек, с которым мы потом тоже сблизились.

Кроме того, благодаря Тане моя жена посетила Грецию, в частности остров Патмос, где в своё время жил Иоанн Богослов и где ему было явлено Божественное Откровение. Проведя месяц на острове в общении с монахами этого великого места, Маша пережила глубинный духовный опыт. Помощь Татьяны была неоцени-

ма, ибо она имела большие связи в религиозной среде, благодаря чему мою жену приняли на Патмосе с распростёртыми объятиями. Впоследствии она рассказывала, что удивительным образом ей удавалось общаться с местными жителями, не зная их языка. Недалеко от монастыря жили гостеприимные греческие крестьяне, и, когда Маша гуляла по острову, они всегда приглашали её на чашку кофе. Они разговаривали — крестьяне на своём языке, Маша — на своём — и понимали друг друга. Не без жестов, но всё-таки понимали. Это было похоже на чудо.

Кроме прочего, Таня познакомила нас с человеком, который тоже оказался нам близок. Это был Мишель Понтон, известный политик правого толка. Будучи католиком, он питал симпатии к России и, подобно нам, видел в СССР Россию. Его деятельность была направлена на укрепление отношений между Францией и Советским Союзом, и потом, после распада СССР, соответственно, между Францией и Россией. В его доме бывали католические священники, но он, конечно, был человеком светским и воспринимал даже мою литературу, хотя поначалу ему было трудновато. К тому времени как вышли мои книги на французском, мы уже настолько сдружились с семьёй Понтона, что вовсю жили у него на даче под Парижем и были свободно вхожи в его дом, что во Франции редкость, ибо если в этой стране принимают гостей дома, то, определённо, это очень близкие люди.

Вторым нашим большим другом был Сурен Меликян, московский эмигрант. Родом он был из Армении и начинал свою интеллектуальную жизнь на философском факультете Российско-Армянского университета. Он был немного моложе меня, но прожил интереснейшую жизнь. Когда он уже завершал учёбу на философском, католикос Армении, впечатлённый его способностями, предложил ему изучать богословие. Выбрав такой путь, Сурен в будущем сам мог бы претендовать на пост католикоса, то есть патриарха всех

армян, живущих не только в Армении, но и за её пределами. Но он отказался; служение Богу в качестве священника его не очень привлекало — не потому что он был с чем-то не согласен, отнюдь; он был верующим христианином, но душой его была свобода, он хотел полёта, в котором были бы и светская жизнь, и искусство, и философия, которая предполагает широкий диапазон исследования. В конце концов Сурен перебрался в Москву, где продолжил изучать философию. Здесь он познакомился с француженкой, прекрасной Валери, которая окончила славянский факультет в Париже и на описываемый момент находилась в командировке в СССР с целью более глубокого изучения русского языка и русской культуры. Они познакомились и вскоре поженились. Таким образом Сурен оказался в Париже; образовалась семья, дети и так далее. Это была большая семья — два изумительных мальчика, чудесная девочка, прекрасная Валери и, конечно, сам Сурен. Почему он стал моим другом? Он обладал не только философскими познаниями, но и мистической интуицией. Это нас сразу сблизило. Занимался он коллекционированием картин, в основном русских эмигрантов; мы часто пересекались на выставках и вскоре стали большими друзьями. Встречи с ним были вот ещё почему интересны: он любил Россию, русских и считал их близкими древнему армянскому народу, который одним из первых принял христианство. Сурен как-то сочетал в себе Россию и Армению с её древностью и потаёнными книгами о происхождении армян. В общем, он был очень широким человеком, мог охватить взглядом все изгибы современной жизни и интерпретировал их согласно своим духовным воззрениям. Философия в нём сплеталась с глубоким жизненным опытом, и это было прекрасно. Вместе с тем он был вполне светским человеком, правда, не выпивал, предпочитал кофе, ну что ж… Тут хозяин — барин. Умер Сурен уже в XXI веке, и его смерть была для нас тяжёлой утратой. С Валери мы дружим до сих пор.

И, наконец, третьим «центром близости», очагом русского духа была квартира Аиды Хмелёвой. Сама Аида была поэтессой и писала изумительные стихи, а её квартира обладала аурой такого свойства, что когда мы входили в неё, нам казалось, что мы у себя дома, в России. Здесь мы духовно отдыхали. Благодаря этому месту мы понимали, что Россия присутствует везде. Кроме того, Аида была, безусловно, нашим человеком. Она числилась диссиденткой в СССР и принадлежала к самому просвещённому этажу неконформистской Москвы, я имею в виду не банально-советское просвещение, а просвещение уровня XVIII века, когда не забывали про дух. В её квартире царила какая-то неповторимо-интимная, трогательно-спокойная аура России, аура русских душ. Здесь русское тесно переплеталась с Духом. И никаких пьяных эксцессов — только чай, спокойные беседы, приятные люди… Сама Аида была удивительным человеком, очень тонко чувствующим Россию. Я написал предисловие к сборнику её стихов, вышедшему уже после перестройки. Она стала признанным поэтом России. При всём при этом она прекрасно ориентировалась во французской жизни и давала своим детям очень точные и ценные установки, как русскому прожить во Франции.

На родине мы с Аидой странным образом не пересекались. Один раз только, кажется, я присутствовал на каком-то её чтении, но помню мало, потому что меня привезли туда после вечеринки. Всё было, как в тумане. И только в Париже этот туман, скрывающий от меня эту прекрасную женщину, рассеялся. Очарование её ещё было в том, что она происходила из русской деревни, из простых крестьян, и самостоятельно получила блестящее образование. В этом действительно было что-то привлекательное, потому что когда элемент народной стихии входит в среду интеллигенции, в этом присутствует какой-то глубинно-чистый момент, как в случае с великим Есениным. Мы с Машей часто посещали квар-

тиру Аиды. Там, в большом эмигрантском обществе, нам было хорошо, весело, уютно и интересно.

Говоря о столь близких нам людях, не могу вновь не упомянуть Светлану Радзиевскую, потому что она была, пожалуй, единственным человеком в Париже, который в какой-то мере принадлежал к Южинскому кругу. Пусть косвенно, пусть через меня, но она всё-таки соприкасалась с этим миром. Мы довольно часто общались со Светланой, перебравшись в Париж. Её дом тоже был для нас русским углом, но потом, увы, жизнь её сложилась довольно драматично — умер муж, она осталась одна с дочерью и уехала из Парижа в пригород. Но всякий раз, когда мы общались, меня не оставляло ощущение, что кто-то из людей моего круга находится здесь, со мной. Позже, уже во времена перестройки, многие приезжали сюда, но сейчас, когда ощущался разрыв с теми людьми, общение с таким человеком, как Светлана, дорогого стоило.

Нельзя также обойти вниманием Аминату Аленскую, хотя мы познакомились уже после перестройки. Эта замечательная женщина сыграла крайне важную роль в моей жизни, переведя на французский мою главную философскую книгу — «Судьба бытия». До этого она была уже частично переведена на английский, но французский вариант был абсолютно полным.

Мать Аминаты была русской, отец — из чёрной Африки. Он был военным, причём искусством войны овладел в Советском Союзе. Здесь они познакомились, поженились, и потом отец уехал по военным делам в Мали. Мать осталась одна с девочкой. Вскоре Амината оказалась во Франции, учитывая, что Мали — бывшая французская колония. Из Москвы она прибыла, уже имея за плечами музыкальное образование и, поступив на философский факультет Сорбонны, изучала там философию музыки. Это очень глубокая, сложная, мистическая наука. Кроме того, Амината была знакома с французскими традиционали-

стами. В общем, наш человек. Но встреча наша, как я уже сказал, произошла много позже.

Кроме того, в 80-е годы в Париже мы познакомились с одной женщиной из Белоруссии, из Минска, Розой Боровиковой. Мы общались с ней и с её подругой, тоже из Белоруссии; здесь же была её дочь Лена, с которой мы тоже сблизились уже в 90-е годы, когда её дом открыл свои двери для многих наших друзей. Достаточно сказать, что сам Володя Степанов частенько бывал там со своими «суфийскими группами». Лена тоже избрала путь учительства, и хотя её группы отличались от степановских, но что-то общее, безусловно, в них было. Но это уже — тема 90-х годов, другая тема, когда весь мир переменился. А пока в Париже эта яркая молодая женщина жила своей жизнью.

Также среди наших знакомых эмигрантов была замечательная девушка по имени Кристина. Она была дочерью известного армянского математика, который эмигрировал во Францию уже давно, вместе с женой, русской художницей. С этой семьёй у нас тоже были очень тёплые отношения. Кристина была необычайно талантливой девушкой — поэтессой, художницей и первоклассной переводчицей с русского на французский. Она переводила русских писателей, и в частности многие мои стихотворения. Кристина была очень добра, обаятельна, умна, образованна. Она стремилась к синтезу искусств; ей хотелось объединить то сюрреалистическое и в чём-то подземное, что было в её картинах, со своей поэзией. Однажды она сказала:

— Когда-нибудь я всё соединю.

Она стремилась соединить несоединимое, а это означало найти Первоисточник всего. Её талант сказывался и в её отношении к людям — она словно хотела объединить всех своей какой-то необычайной добротой. Кристина блистательно читала переводы моих стихов на вечерах в знаменитом старинном «Кафе поэтов» в центре Парижа. Дом её был окутан аурой творчества: математик-отец,

художница-мать и сама Кристина со своими замысловатыми полотнами, стихами, переводами и европейскими журналами, где она печаталась. Кстати, её мать написала удивительный портрет Маши, в котором присутствовало одновременно и земное, и ангелическое. Это единение земной красоты и чего-то воздушного сделало портрет очень впечатляющим. Это была и есть замечательная работа.

Помню, как мы вместе с Кристиной отправились в город Коньяк на конференцию, посвящённую современному миру. Там мы пересеклись с Эдиком Лимоновым. Конференция конференцией, но всё затмил коньяк, который был необыкновенного качества; он был подобен золотому огню, и, разумеется, этот огонь затмил и политику, и всё остальное. Только Кристина держалась молодцом и взяла шефство над нами, правда, незримое шефство. Мне и Лимонову предоставили слово, а после нашего выступления один из представителей югославской делегации рассказал, как всё было. Дело в том, что я выступал в одной аудитории, а Эдик — в другой, но говорили мы абсолютно одно и то же, не сговариваясь. Реакция же публики в обеих аудиториях была диаметрально противоположной. Это был очень интересный момент — мы высказывали одни и те же идеи, но они воспринимались совершенно по-разному. Возвращались мы в одном вагоне с Эдиком; он всё пил коньяк и предложил мне тоже продолжать. Так, увозя с собой дух Коньяка, мы вернулись в Париж.

Пересекались мы также с Володей Жестковым. Он был представителем ещё белой эмиграции и, стало быть, родился на Западе. На момент нашего знакомства он был относительно молодым человеком и занимался какими-то юридическими делами, при этом будучи тонким ценителем русской поэзии. На этой почве мы с ним и сошлись, а он вдруг неожиданно стал работать на французском радио, которое вещало на русском языке. Для нас это было отрадно, ибо появилась возможность выступать. И ког-

да я впервые пришёл туда, то был приятно удивлён тем, что было относительно мало всякой пропаганды, а в основном велись передачи культурологического порядка. В общем, французское радио оказалось куда свободнее, чем «Радио Свобода».

Сам Володя вёл типично французский образ жизни — перед тем как явиться на работу, он заходил в кафе поблизости. Чашка кофе, рюмочка-другая — и вот он уже готов начинать действовать на радио. Он был интереснейшей личностью в том отношении, что русское и западное начала очень необычно взаимодействовали в нём, создавая особый тип личности. Западное начало гасило русское, русское гасило западное, ну и выходило что-то вроде симбиоза. В общем, Володя был милым человеком и легко общался с советскими журналистами… Позвонит, бывало, из нашей парижской квартиры какому-нибудь известному советскому журналисту и скажет: «Старик, встречаемся там-то и там-то, выпьем, что Бог пошлёт, и поговорим». В судьбе этого человека не было ничего душераздирающего, и поэтому с ним было очень легко и приятно.

Исключительна была судьба советского эмигранта Коли Бокова — родственника известного советского поэта. Он приехал почти в одно время с нами, и сначала всё у него шло нормально. Боков тяготел к современным направлениям и хотел организовать свой журнал. Одно время он жил в так называемом «русском замке», который в какие-то совершенно дальние времена принадлежал киевской княжне, вышедшей замуж за французского короля. Замок был знаменитый, но заброшенный; худо-бедно его поддерживала русская община белой эмиграции, и Коля Боков там расположился.

Как я сказал, сначала всё шло нормально. Мы хорошо общались, потому что Коля был далёк от политики и изъяснялся лёгким и авангардным языком. У него появился свой тоненький, но весьма любопытный журнал «Ковчег», и как раз в это же время вдруг произошло то, что должно было произойти — Лимонов завершил знаменитый

роман «Это я, Эдичка», который произвёл фурор в эмиграции. Лимонов хотел издать свою книгу на английском, но тщетно — он посылал роман в десятки издательств, и везде отказывали, причём без всяких объяснений. Пару раз только ответили, что-де «роман слишком антиамериканский». Во Франции же книгу опубликовали; нашлась замечательная переводчица — молодая женщина с очень интересной судьбой (она преподавала в одном российском университете), которая блестяще перевела роман на французский. Она, кстати, была знакома и с моими рассказами, правда, до «Шатунов» дело не дошло. По поводу рассказов же она отметила, что от них можно либо повеситься, либо вознестись на небо. Я на это сказал, что лучше вознестись, а уж повеситься — это великий грех. Она рассмеялась.

В общем, эта переводчица сделала роман Лимонова известным. В среде русской эмиграции на эту книгу были самые разные отклики, в том числе и возмущённые. Возмущались якобы просоветской направленностью (некоторые докатывались и до такого), хотя ничем просоветским там и не пахло. Иные говорили об антиамериканизме, чего тоже не было. В романе было реальное, фактическое описание того, что происходило, причём многое из описанного происходило на наших с Машей глазах. Маша ещё в Америке защищала Эдика от идиотских нападок.

Коля же Боков решился на очень смелый шаг — он взялся печатать этот роман на русском языке в своём журнале. Если не ошибаюсь, это, собственно, и была первая публикация «Это я, Эдичка» на русском, а потом уже последовала книга. Нам роман, конечно, понравился, потому что он был, прежде всего, написан искренне, а искренность для такого романа — самое важное. Но дело в том, что Коля допустил ряд ошибок, а ведь эмигрантская жизнь в социальном плане очень сложна — противоречия, интриги… Я не помню, что там в точности произошло, но в итоге он лишился своего журнала и оказался не у дел. Но внезапно им овладело абсолютно отрешённое религи-

озное состояние, в православном ключе. В христианском, во всяком случае. Его лицо изменилось до неузнаваемости, и он стал бродить по Франции так, как будто Франция была дореволюционной Россией, когда люди скитались по монастырям, кормились, чем Бог пошлёт, перешёптывались с богоискателями, уходили в монахи или оставались этакими эйфорическими бродягами. Но Франция — не Святая Русь, да и времена великого французского короля Людовика Святого давно прошли. И тем не менее, Коля Боков умудрялся как-то жить. Не знаю, каким образом ему это удавалось, но он существовал, правда, в некоем сумеречном состоянии. Надо сказать прямо, что когда я наблюдал его таким, то ясно чувствовал, что это не истинное религиозное состояние, а некая странная, гротескная защита от бед, обрушившихся на его голову. Колина ситуация носила явно болезненный, патологический, по существу, характер. Во всяком случае, мне казалось, что это не совсем то, что происходит, когда человек уходит от мира сего и идёт по неведомому пути сближения с Творцом.

В общем-то, так оно и оказалось. «Божественное отключение», в котором наш бедный герой пребывал в течение нескольких лет, вдруг сменилось на нечто противоположное. Внезапно черты религиозного экстаза спали, и мы увидели абсолютно нормального, светского человека, свободно изъясняющегося по-французски и прекрасно ориентирующегося в парижской жизни. И всего через несколько лет Коля Боков уже вовсю публиковался в Париже; он был не без писательского таланта. В общем, стал французским писателем. Он не писал уже на русском языке, поскольку прекрасно владел французским; он перешёл на этот язык. И внешне этот человек совершенно преобразился — глядя на него, вы видели представителя левой французской богемы. Во всяком случае, на меня, наблюдающего Колино житие довольно подробно, он производил теперь впечатление этакого гошиста со всеми современными ухватками, и от прежнего Бокова, который был до своего псевдо-

религиозного экстаза и от Бокова, пребывающего в этом экстазе, не осталось и следа. Возник совершенно новый человек — скорее француз, чем русский. Вот такие метаморфозы не только судьбы, но и самого человека, имели место.

Однажды, на какой-то небольшой парижской тусовке я увидел одного моего московского приятеля, с которым мы плотно общались в 60-е годы. Это был Юрий Титов, художник. Несмотря на то, что он сильно изменился, и на лице его лежала печать некоей отрешённости (отдалённо напоминающей боковскую), я узнал его. В эмиграцию он прибыл с женой, небезызвестной Леной Строевой. Судьба этой четы в своё время потрясла эмиграцию. Они были окаянными диссидентами жёстко-антисоветской направленности. Лена была женщиной прямой, эмоциональной и смелой — она не только не скрывала своих взглядов, но громко, резко и во всеуслышание высказывала их. Итог один — эмиграция. Юра Титов тем более не подходил советской власти, потому что был религиозным художником. Его картины иной раз носили апокалиптический характер. Например, одна из них изображала в небе лик Христа, объятый огнём. То есть это была трагическая картина столкновения обезумевшего мира с Иисусом Христом. Кроме того, он был ещё и абстракционист. Короче говоря, эту парочку стали выдворять на Запад, и они были не против, но, как рассказывала сама Лена, перед самым отъездом она вдруг неожиданно разрыдалась.

По приезде на Запад стало сразу понятно, что Юра и Лена совершенно не приспособлены к здешней жизни — рациональной, прагматичной, жёсткой. Юрины религиозные картины были с листа отвергнуты западными ценителями искусства, учитывая, что религиозность уже тогда, в 80-е годы, лежала далеко за пределами круга интересов западного мира и вызывала негативную реакцию. Когда Лена с Юрой перебрались в Париж, их ситуация не улучшилась, хотя худо-бедно можно было всё наладить; как-никак эмиг-

ранты помогали друг другу. Но этой семье не достало смекалки, хватки, выдержки. Они совершенно не умели притворяться, что на Западе важно. Кроме того, Лену охватила совершенно безумная ностальгия — безумная потому, что в столь ответственный момент их жизни, когда ещё не всё пропало и всё можно было устроить, она погубила их. Кончилось тем, что эта смелая женщина, которая в своё время была кумиром всех московских антисоветчиков, в отчаянии бросилась в советское посольство и написала заявление о возвращении, но это было настолько неожиданно, что быстрого ответа ожидать было никак нельзя. А Лена стояла там, прижав руки к груди, и умоляла, чтобы ей просто дали чёрного хлеба.

Все эти события, а особенно столь внезапное решение вернуться, вызвали крайне негативную реакцию в среде советской эмиграции, особенно в политической её части. Как в артистической — не знаю, но там другой мир, другая психология. В результате Лена Строева покончила с собой. Об этом писали все эмигрантские газеты, случившееся потрясло всех; люди тяжело переживали это событие. А Юра Титов после самоубийства жены просто вышел на улицу, как был, и пошёл в никуда. И на его счастье ему встретились католические монахи, которые как-то распознали в нём русского религиозного художника и приютили его в своём монастыре. В противном случае он бы просто погиб — ни крыши над головой, ни денег; он даже не владел французским. Это был прямой путь в клошары.

Юра долгое время жил неподалёку от католического монастыря, потом вернулся в Париж, и вот тогда я его и встретил, на этой тусовке… Что сказать? В России это был блестящий человек, интересный, джентльменско-новорусского типа. Но здесь… Конечно, он надломился, но не сломался, потому что я почувствовал, что он хочет и дальше писать храмы, вознесённые в космос, туда, поближе к небесным силам. Небесным духовно, разумеется, а не физически. И это вознесение храмов в небеса было для него

символическим спасением. Мы с Юрой посмотрели друг на друга и ничего не сказали. Что тут было говорить?

Одним из очень трогательных моментов нашей французской жизни было знакомство с графиней Элизабет Лафайет — женщиной из весьма почтенной семьи, известной не только во Франции, но и в Соединённых Штатах, поскольку эта фамилия связана с войной США за независимость.

Графиня, ещё молодая женщина, была замужем за человеком, достаточно необычным для семьи Лафайет. Он был наполовину вьетнамец, наполовину француз, и кроме того, большой поклонник Рене Генона. Он водил знакомство с группой местных генонистов.

Как мы познакомились? Элизабет жила рядом с нами, на той же улице, два дома разница, в достаточно роскошной квартире. Знакомство состоялось на литературной почве — графиня с мужем прочли «Шатунов», когда роман вышел на французском. Прочитанное повергло их в совершенный транс, и они потом каким-то образом узнали, что автор вместе с женой обитают неподалёку.

Графиня была совершенно очаровательной женщиной, и через неё мы познакомились с группой поклонников Генона. В общем, можно сказать, что философско-метафизическая линия была продолжена и во Франции, причём не только через знакомство с этой группой. Выяснилось, что недалеко, под Парижем, находится знаменитый ашрам, возможно, единственный в Европе, где практиковали индийскую метафизику.

Элизабет оказалась очень приятной женщиной; она даже больше сдружилась с Машей, чем со мной. Она навещала нас, когда Маша болела, и приносила продукты, чтобы мы не утруждались походами по магазинам. Сама жила довольно скромно, по каким-то незначительным финансовым причинам, потенциально же она была очень богата... Но не суть. Общение с ней было украшением нашей эмигрантской жизни, потому что это было сближение в разных направ-

лениях. Муж её мучился довольно странными для нас комплексами, связанными с его национальностью. В результате он ушёл от графини, и мы были с ней в её горе. Потом её семья, которая жила в своём поместье где-то в центральной Франции, забрала её к себе, и графиня Лафайет исчезла из нашей жизни… Но в этой встрече были лёгкость и настоящая близость. В этот период небезызвестный Володя Жестков женился на русской эмигрантке Ирине, нашей близкой знакомой, и мы часто встречались друг с другом. Потом он тоже исчез. Исчез, и всё. Он вообще довольно часто убегал от женщин. Поживёт-поживёт — и убежит. Такой уж он был — чересчур свободный.

И ещё одна встреча была для меня важна, но произошла она опять-таки уже в 90-е годы. Но я ещё раз позволю себе нарушить хронологию и упомянуть о ней, хотя бы вкратце. Анн Колдефи, будущая переводчица «Шатунов», познакомила нас с Жаном Парвулеско. Это был необычайно образованный человек, который знал все тайные общества и ордена Западной Европы. Его книги представляли собой исключительное явление в истории европейской духовной жизни. Саша Дугин знал его и восхищался им (разумеется, в своё время). Прежде чем нас познакомить, Анн, конечно, порекомендовала ему прочесть мои книги (на тот момент «Шатуны» уже были переведены). Он прочитал и, видимо, был потрясён. Во всяком случае, мне он сказал, что ни с чем подобным не сталкивался, но была в его жизни одна встреча, которая произвела на него не менее сильное впечатление. Это было в 30-е годы; здесь, в Париже, Парвулеско встретился с тремя людьми из Латинской Америки. Они говорили с ним сугубо закрытым языком, начертили ему несколько символов и исчезли раз и навсегда, и кто это был, одному Богу известно. Парвулеско сказал, что читая мои книги, он вспомнил эту давнюю встречу и как бы нащупал связь с теми людьми.

А в целом наша беседа в кафе была довольно сдержанной. Он просто смотрел на меня, и на лице его было написано: «И как только

такие жуткие книги мог написать этот добряк?» Эта встреча произошла незадолго перед тем, как Жан Парвулеско ушёл в другой мир.

Резюмируя сказанное, хочется отметить, что русский Париж — не пустое слово, а, как говорил Рене Гера, явление мировой культуры. Да и сама атмосфера этого города с её размеренностью, неторопливостью, кафешками и тусовками была совершенно иной, нежели в Соединённых Штатах, — и по духу, и по стилю жизни. О лучшей эмиграции и мечтать было нельзя.

***

В скором времени произошло событие, в значительной степени повлиявшее на судьбу моих книг в Европе. Я имею в виду выход в свет романа «Шатуны» на французском языке в крупном издательстве «Робер Лафон». Огромную роль в этом деле сыграла уже упомянутая Анн Колдефи, которая впоследствии тоже стала нашим другом. Это была исключительная переводчица; она перевела на французский «Архипелаг Гулаг», и вот теперь настал черёд «Шатунов». До этого мой страшный роман пытался перевести по просьбе издательства ещё один переводчик, но ему с этой задачей справиться не удалось. Анн же выполнила работу на высочайшем уровне. Она рассказывала мне, что, когда она закончила перевод (это было на берегу Средиземного моря), у неё было состояние какого-то странного отключения, в котором депрессия сменялась радостью, потому что, во-первых, перевод был труден, а во-вторых, сам текст возымел соответствующее воздействие. Единственно — не нашёлся эквивалент названию. Было одно французское слово, наиболее близкое понятию «шатун», то есть медведь, который не спит зимой и бродит по лесу, но оно уже использовалось во французской литературе. Перевести таким образом, как, скажем, «бродяга» было банально и стояло слишком далеко от самого понятия «шатун». Шатун — это ведь не просто медведь-бродяга, который не спит зимой, это медведь, кото-

рый находится в изменённом состоянии сознания, поскольку медведи зимой должны спать. Что-то его разбудило, что-то в нём самом пробудилось, что-то такое в нём произошло. Он может быть опасен, агрессивен, может быть просто в депрессии. Это до известной степени мистическое состояние, потому что бессонница даже в человеческом опыте ведёт к довольно серьёзным катаклизмам в сознании, если она продолжительна. В общем, перевести нормально не удалось, поэтому оставили оригинальное «Шатуны», хотя такого понятия, как «медведь-шатун» во французском языке нет. Но сам перевод был выполнен виртуозно. Издательству «Робер Лафон» удалось преодолеть негативизм, чего не смогли сделать в «Галлимаре».

Реакция на роман была ошеломляющая, бурная, многочисленная; появились различные статьи в журналах и газетах. Ко мне стали приходить французские журналисты и брать интервью. В частности, заглянули люди из известного журнала «Актюэль», которые потом со смехом рассказывали, что подходили к нашей квартире с опаской, ожидая увидеть некую полупещеру и мужика с водкой, бородой и топором. Несмотря на то, что они шутили, их всё-таки удивила наша вполне французская квартирка — ничего зловещего. Эти люди, кстати, рассказали нам историю про одного местного журналиста, который решился на необычный эксперимент. Он продолжительное время жил с так называемыми клошарами, спал в зимних ночлежках, видел их мир изнутри, видел, как бродяг ранним утром выпускают из ночлежек на улицы. Этот журналист впоследствии написал книгу об этой жизни «на дне», которая имела шумный успех.

Возвращаясь к «Шатунам», хочу отметить, что наиболее впечатляющим из написанного о романе была рецензия знаменитого Жака Котто — профессора славянского отделения Сорбонны и, что для меня было особенно ценно, самого известного достоеведа Франции, получившего за свою толстую книгу о Достоевском национальную премию Литературной Академии. Эту книгу Жак по-

дарил мне. Что до его рецензии, то она была опубликована в парижском журнале Magazine Litteraire. Номер, кстати, был посвящён концу мира, и публикацией там своей рецензии Котто подчеркнул присутствие эсхатологической тенденции в «Шатунах».

Рецензия была высочайшего уровня, и озаглавлена она была так: «Юрий Мамлеев — достойный наследник Гоголя и Достоевского». Это было веско и надёжно сказано — как я уже говорил, культ Достоевского как писателя номер один мира сего был весьма силён, наряду с культом Шекспира как первого драматурга. Если не ошибаюсь, на втором месте был Чехов, и почему-то тоже как драматург. Причём самым странным в этой истории явлением была общеевропейская интерпретация его драматургии как драматургии абсурда. В Америке, например, меня уверяли, что «Вишнёвый сад» — гениальная пьеса абсурда. Ну, что тут сказать... Мне кажется, что это всё-таки не так.

Наряду с этим были отзывы не столь глубокие, как рецензия Котто, но довольно впечатляющие. Например, одна из рецензенток писала: «Короткими и ёмкими фразами Мамлеев доводит своего читателя до полубезумия». Тем самым она подчёркивала, что роман выталкивает сознание человека за обычные пределы. Были более простые рецензии, в которых акцент был сделан на проблеме насилия, ибо тема эта, как я уже говорил, всегда волновала европейскую интеллигенцию. Была только одна отрицательная рецензия в крайне правом журнале, небольшая, и даже непонятно было, что им не понравилось. И ещё была очень внушительная статья, на целую страницу, в «Либерасьон».

Таким образом, благодаря «Шатунам» я вошёл в лоно европейской литературы. Позднее роман был переведён на многие языки. Большое впечатление «Шатуны» произвели на Даниэль Дорде; это произведение способствовало ещё большему сближению между нами. Она не считала этот роман чересчур смелым или

«страшным», потому что очень глубоко чувствовала мировую ситуацию, и её впечатления от происходящего в мире были вполне беспредельны. Тем не менее она была страстной поклонницей «Шатунов», считая это произведение совершенно необычным явлением, почти фантастическим, и подаренный мной экземпляр книги стоял у неё на полке.

В советской же прессе «Шатуны» не освещались, потому что у неё на это не было времени; она была занята политикой.

Даниэль Дорде взяла у меня тогда, помню, прекрасное интервью, опубликованное в её журнале. Мне был задан вопрос:

— Любите ли вы человечество?

Я ответил:

— И да, и нет.

Даниэль это восхитило. Ответ-то, в общем, был понятный — нет, потому что человечество пребывает в жутковатом состоянии, Кали-Юга на дворе и прочее.

И вместе с тем – да, люблю, потому что человечество есть отражение божественной иерархии, и даже в падшем естестве живёт Бог. Вспомним знаменитые слова: «Бог присутствует везде, но только в человеке он живёт». Он присутствует даже в падшем человеке, знает тот об этом или нет. К сожалению, в данном цикле большей частью он не проявлен — в силу воли человека.

Завершая интервью, Даниэль задала несколько риторический вопрос об авторе книги: кто он — гений или сумасшедший? Ведь это, по мнению многих исследователей творчества, практически одно и то же. Ну, я себя сумасшедшим не считал. На том и порешили.

Мне было, конечно, интересно, что скажет по поводу «Шатунов» Татьяна Горичева. Она глубоко, с болью пережила роман, и её реакция на него была схожа с реакцией Джима Макконки — она сказала, что в основе этого текста лежит растерзанное религиозное чувство и ощущение чудовищности современного мира.

Некоторое время спустя после публикации «Шатунов» у нас с Татьяной родился замысел совместной книги. Рабочее название было «Град Китеж». Опубликована книжка была в Ленинграде в 1989 году, во времена перестройки. Половина книги была написана Татьяной, а вторая представляла собой мою статью, где я выдвинул идеи, которые в будущем легли в основу «России Вечной». Получилась небольшая книжка, и тираж у неё был небольшой; вышла она под названием «Новый град Китеж». Это было для меня тогда большой радостью, потому что всё, что обдумывалось и переживалось в период эмиграции, воплотилось в этом небольшом труде, и я уже чувствовал, что сделано большое дело и что те переживания, которые были у Маши и у меня в период нашего добровольного изгнания, не исчезнут; они уже являются всеобщим достоянием.

Между тем шёл 1986 год, парижская жизнь продолжалась, и было ощущение, что нечто грядёт. Потому что уже в этом году в воздухе начали носиться первые неуверенные слова о перестройке, о новом мышлении. И повеяло чем-то новым. Но того, что произошло буквально через несколько лет, никто и вообразить себе не мог. Тем не менее что-то нагнеталось, а я помнил предсказание Ирины Антимоновой (в конце 80-х годов я получил известие о её смерти). Эта удивительная женщина обладала мистической способностью проникать в самые глубины судьбы не только отдельного человека, но общества, государства, всего мира. Всё было просто — она владела тайнами истинной астрологической науки и хохотала над современными «астрологами».

В общем, ощущение было такое, что предсказание Ирины должно исполниться, хотя я от её предсказаний был в некоторой растерянности, и когда всё уже свершилось, в это долго не верилось — настолько неожиданно всё произошло.

А через некоторое время из СССР пришла весть о смерти Леонида Губанова. Это, конечно, поразило меня. Он умер

в 37 лет, как и предсказывал себе в своей удивительной поэзии, которую я назвал «поэзией священного безумия». Это редкий случай именно такого плана поэзии. Редчайший дар. И в нём совершенно не было вторичности, которая часто являлась характерным признаком многих русских поэтов второй половины XX века. То, что произошло с ним, было его судьбой; он был вне социума, и если бы он был более социален и прожил бы дольше, он, конечно, стал бы очень известен, поскольку пал коммунизм и открылись двери для творческих людей. Но Леонид не дожил до этого времени, и то, что он не был конформистом, не печатался на Западе, не лез во все щели, чтобы публиковаться, сказалось на том, что потом уже, в 90-е годы, ему уделялось не столько внимания, сколько он заслуживал. Однако сила таланта всегда говорит сама за себя, и относительно творчества Губанова это неизменно скажется, когда литература очистится от грязной политической пыли.

А что до мировой поэзии — это особая статья. Если говорить о Западе, то приходилось признать тот факт, что интерес к поэзии постепенно уходил из западного мира, потому что, как мне сказал один человек, — какая к чёрту поэзия в мире голого чистогана? Но это, конечно, громко сказано, потому что человек всё же остаётся человеком; мы ещё живём не на пороге апокалипсиса, а только в очень далёком его преддверии.

Между тем жизнь в Париже текла в своём русле — была работа, были тусовки и поездки по Европе. Однажды я познакомился с профессором Козаком — известным славистом и директором института славистики в Кёльне. Он позвонил мне по телефону и пригласил к себе в институт — прочесть лекцию. Как оказалось, он уже давно пропагандировал там мои рассказы, и его студенты вовсю изучали моё творчество. Кроме того, он являлся автором энциклопедии современной русской литературы, куда включил

имена писателей-эмигрантов, которые систематически предавались забвению в советскую эпоху.

Я прибыл на место. Впечатление было нормальное. Всё досконально, по-немецки. Потом — загородный дом Козака близ Кёльна; мы беседовали о литературе, и я чувствовал, что этот человек — не совсем обычный профессор русской литературы. В первую очередь его отличала необычная для профессоров широта интересов, и, по-русски выражаясь, он был богоискателем, белой вороной среди серых немецких профессоров. Юношей его призвали в немецко-фашистскую армию, и он попал в плен под Сталинградом, будучи членом шпионской диверсионной группы, посланной немецким командованием за линию фронта, но окружённой и арестованной. Козаку грозил расстрел. Но командир советского подразделения, как рассказал мне профессор, вдруг посмотрел ему в глаза и сказал: «В этого не стрелять». Так молодой Козак был спасён.

Вернувшись в Германию из плена, он стал относиться к России не только с вниманием, но и с неким тайным восхищением. Известно, что многие немецкие военнопленные, проходя через русские деревни, были потрясены, когда женщины подавали им хлеб, тот хлеб, который сами получали по карточкам, 300–400 граммов. Немцы говорили потом: «Может быть, я убил её сына, а она отдаёт мне свой последний хлеб». История не знала подобных проявлений христианского, человеческого милосердия, это было нечто из ряда вон. В основном же было очень плохо и очень тяжело. Известны случаи, когда в Первую мировую женщины выкалывали раненым вражеским солдатам ножницами глаза, и эти истории легли в основу русофобских мифов о какой-то там русской жестокости — ничего нелепее представить себе нельзя. Никто не станет спорить с тем, что жестокость — общечеловеческое качество, и оно присутствует у всех в той или иной степени, но бывают ситуации, когда одни на-

роды действительно проявляют жестокость по отношению к другим — на войне как на войне.

Профессор Козак блестяще владел русским языком, прекрасно знал нашу литературу и кроме того, он был штайнерианцем. Я был знаком с антропософией Штайнера, тем более с данным учением связаны многие известные русские имена, в том числе Андрей Белый. Но я не разделял взглядов Штайнера. И несмотря на это, было очень приятно пообщаться с Козаком. Он любил моё творчество и рассказывал, как его воспринимают студенты. По его словам, многие были ошарашены и вместе с тем от них ускользали уровни подтекста моих рассказов. Как он говорил, поверхность была настолько чудовищной, что скрывала подтекст потаённого света, который был в этих рассказах. Оно и понятно, ведь согласно великим традиционалистам свет появляется, когда пройден этап ужаса, связанный с падением, фаза мрака, который есть в человеке. И когда все эти фазы действительно, по-настоящему, пройдены, свет, необходимый для бессмертия и для жизни, появляется в его подлинном виде, а не в форме «золотого сна» и иллюзорного спасения. На этой счастливой ноте мы с профессором распрощались.

Таким образом, картина того, что происходило в Европе, становилась более ясной и в то же время, как ни странно, она была более спокойной по сравнению с тем, что мы наблюдали в США. Там всё было обнажено (для нормального взгляда, конечно) и предельно драматично; чувствовалось, что мир ходит по краю бездны. А в Европе всё было как-то сглажено, ещё чувствовалось, пусть и угасающее, но всё-таки дыхание великой европейской культуры, и это вселяло творческий покой. Вся эта древняя архитектура, все эти церкви и соборы, пусть пустые или полупустые, но это тоже воздействовало очень позитивно.

Также в Германии, но уже в Мюнхене, я познакомился с Борисом Гройсом. Одно время он был другом Тани Горичевой; оба были

родом из Санкт-Петербурга, и он тоже, как и она, занимался философией, писал статьи. Благодаря этим двум людям я имел представление о том, что происходило на философском факультете Петербургского университета. Однако Гройс был человеком другого порядка, нежели Таня, — более западного.

Вскоре произошло ещё одно событие, хоть и на внешнем уровне, но достаточно существенное. Наш друг Рене Гера помог мне устроиться на работу во Французский институт восточных цивилизаций. Я начал читать лекции по русской литературе, но не могу сказать, чтобы новое место меня как-то чем-то впечатлило или я открыл там нечто… Обстановка здесь мало отличалась от той, что была в Медоне.

***

Между тем приближались роковые годы — годы, которые принесли нам возвращение на родину. Роковыми они были в том отношении, что Россию подстерегали новые опасности. Но на описываемый момент никто и представить себе не мог, что произойдёт. Парижская жизнь текла в прежнем русле — встречи, поездки, работа, кофе, вино, ностальгия. Лёгкость и тяжесть, говоря словами Кундеры. В это время в Париже появился поэт Юрий Кублановский. Это был свежий человек из Москвы — он приехал сюда в качестве изгнанного поэта и был встречен на ура. Он сразу попал в «Русскую мысль» и стал там работать поэтом. Кроме того, в 70-е годы он являлся членом СМОГа, возглавляемого самим Губановым; в общем для нас появление такого человека в эмигрантской среде было большой радостью.

Кублановский принёс свежий ветер неконформистской России. Чуть позже мы встретились с ним у него на квартирке и просидели чуть ни всю ночь, слушая его рассказы о том, что происходит на родине. Здесь не требовалось ни вина, ни водки — мы

просто заворожённо сидели и слушали. Судя по этим рассказам, коммунистический режим в России значительно потеплел, идеология как-то отступила, общечеловеческое взяло верх… Кублановский, например, рассказывал, как ведут себя секретари обкомов или там райкомов: в будни такой секретарь трудится как вол — на нём целый район, огромная ответственность и прочее. Но вот наступают выходные, и этот секретарь, как истый помещик, в спортивном костюме, выезжает за город, где у него дом, лесок, банька, ружьё, и начинает отдыхать по полной программе. Не без девочек, потому как девочки должны быть, раз банька… И гуляет этот секретарь обкома, как русский человек XIX столетия. Никого не обижает, но гуляет. Считаясь с Уголовным кодексом. Это само по себе уже казалось нам хорошим знаком, как-то отлегло от сердца. О том, как отнеслись бы к подобной «рекреации» коммунисты первых лет революции или 20-х годов, не стоит и говорить. Мне вспомнились слова моей тёти о том, что комсомольцы 20-х годов поставили бы к стенке комсомольцев 60-х — за буржуазное перерождение. Но в случае с этим секретарём не было никакого буржуазного перерождения — было перерождение человеческое.

Кублановский рассказал ещё много интересного, занятного и конкретного; рассказывал он хорошо, образно, и мы были рады, что появился человек *оттуда*, и что жизнь *там* продолжается, можно надеяться на перемены, хотя о глобальных переменах никто пока не думал. А зря.









1. Юрий Мамлеев

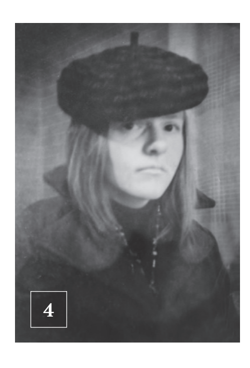
   Пригород Парижа, 1984 год

2. Переводчица «Шатунов» Анн Колдефи

3. Мария Мамлеева и Даниэль Дорде с мужем

4. Татьяна Горичева

5. Николай Боков и Юрий Мамлеев





6





6. Слева направо: художники
Валентин Воробьёв и Владимир Котляров (Толстый), Татьяна Горичева, Юрий Мамлеев, Игорь Дудинский

Париж, 1989 год

7. Алексей Хвостенко

8. Михаил Шемякин

Часть третья. Возвращение



Перестройка

Реальность перестройки мы почувствовали, когда стали возможными поездки в СССР. Это случилось примерно в 1988 году, а в 1989 уже шло полным ходом. Посещение Советского Союза стало доступно для эмигрантов. Сначала я сделал два пробных визита, оба в 1988 году. Один из них был совсем коротким, а второй, осенью 1988 — уже более продолжительным. Потом уже слетала в Союз и Маша, и наконец мы стали посещать нашу страну вдвоём каждый год — 1990, 1991, 1992 — вплоть до нашего окончательного вселения в Россию в начале 1993-го.

Эхо волн перестройки, конечно, докатывалось до Парижа много раньше — уже в 1986 году я вспоминал предсказания Ирины Антимоновой. Это наполняло наши сердца радостью, потому что, как я уже говорил, всех последствий перестройки мы и вообразить себе не могли. Мы в эти годы лишь чувствовали, что в нашей стране грядут большие перемены.

Итак, в 1988 году я прилетел на неделю-другую в Союз. Впервые после долгих лет я оказался в Москве, на своей родине. Чувства, испытанные мною тогда, невозможно описать… Собственно, мне даже не хочется их описывать. Сначала у меня возникло ощущение, что я нахожусь в Москве 60-х годов… Всё было такое близкое и известное мне, и в то же время на всём, что я видел,

лежал оттенок какой-то таинственной новизны — это было в людях, в домах, в деревьях, в общей ауре. Это было тогда, когда черты перестройки не проступили ещё в облике столицы — лозунги оставались прежними, коммунистическими, и складывалось впечатление, что перестройка, дарующая большую свободу, осуществляется в рамках социалистического строя. Нечто новое, однако, чувствовалось, но это было связано с огромной разлукой, и это новое ощущение, видимо, родилось из приближающейся ауры изменений в сознании людей, которые произошли уже потом, в последние годы... Что-то оставалось и что-то приближалось. Кроме того, увидеть то, что знал с детства, после такого огромного перерыва — это было что-то необъяснимое...

Я остановился у тёщи. В Москве одним из первых я встретил Сурена Меликяна. Он уже раньше бывал в Москве, и это прибавило мне уверенности, потому что вот он, парижанин, и в Москве себя чувствует прекрасно.

Он повёл меня в ресторан, я осматривался, видя то, что я знал на протяжении десятилетий, потом увидел во сне, и вот опять я это вижу наяву... Сурен чувствовал моё настроение, улыбался и подливал мне отличного грузинского вина.

Нужно было позвонить южинцам, и было волнительно сделать этот первый звонок. Сначала я позвонил Игорю Дудинскому. Я знал его способность вращаться в разных кругах и иметь обширный круг знакомств. Набрав его номер, я сказал:

— Игорь, привет. Угадай, кто звонит?

Он, не особенно смутившись, назвал одно имя, весьма далёкое от моего, потом другое, третье, четвёртое. Наконец, когда он потерял терпение, я открыл ему истину. Он закричал. Потом сказал:

— Юра, я собираю людей.

Встретиться договорились через два дня на квартире художника Бориса Козлова.

В течение этого времени я задумал пересечься с Дариком Джемалем. Мне было интересно, какой путь он прошёл. Мне хотелось застигнуть его врасплох, и потому я попросил Сурена позвонить ему и сказать, что вот, мол, один из ваших близких друзей, который не хочет называть своё имя, желал бы вас видеть. Дарик не стал допытываться и сказал:

— Хорошо, я жду.

Когда я вошёл в его квартиру где-то на 4-5 этаже обычного московского дома, он сидел там в халате. Я сразу почувствовал: да, это Дарик, но что-то в нём изменилось. Потому что духовное присутствие, его окраска, его аура всегда чувствуются в человеке. И я почувствовал, что произошли какие-то изменения, но скорее внешнего порядка.

Мы расселись — дело было уже к ночи — и всю ночь проговорили. А утром подъехало несколько человек – просто, чтобы посмотреть на меня. Среди них была Лена Джемаль, теперь уже бывшая жена Дарика, и, если мне не изменяет память, тогда я впервые увидел Александра Дугина.

Мы проговорили, и, как мне показалось, Джемаль был поражён происшедшими во мне изменениями, хотя они не касались философско-метафизических глубин. Мне же некоторые его взгляды, особенно в сфере политики показались странными и даже наивными. Я понимал, что, живя в СССР, невозможно понять, что происходит на современном Западе, что это уже не Европа Шатобриана, Бальзака и даже Флобера, что это совершенно другая цивилизация. Для живущих вдали немыслимо было понять, что такое Америка. Потому что именно Соединённые Штаты оказывали сильнейшее влияние на Европу. Таким образом, вопрос о современной цивилизации не выходил за рамки понимания советской интеллигенции, диссидентов, недиссидентов, метафизиков, просто писателей… Картина Запада выглядела для них, как абсурд,

потому что она не имела никакого отношения к реальному Западу, к реальной Америке, к реальной Германии.

Встреча с другом, конечно, была очень важной, но я явно почувствовал присутствие ислама. Этого не было раньше, в 60—70-е годы. Тогда Дарик был вне какой-либо ортодоксии, он отличался смелостью философской мысли, которая, впрочем, была свойственна ему и потом. Но мне показалось, что всё же что-то ушло.

Посетить всех друзей за это короткое время у меня, конечно, возможности не было, но всё же я находился на пике напряжения, потому что увидеть свой родной мир в другом свете, в иной ситуации — это что-то. Но пока ещё никаких видимых знаков тотального отличия от прежней системы не было. Но это было только на поверхности, точнее, самое главное было, как всегда, в глубине, в душах людей.

Через два дня на квартире у Бори Козлова состоялась назначенная встреча. Из дома Джемаля я вышел, не спав всю ночь, и не чувствовал усталости, наоборот, это состояние как-то очень гармонировало с моими ощущениями. Я всё-таки поспал час-другой на какой-то полукушетке и явился на встречу в более-менее естественном состоянии.

Там было несколько человек из тех, которые образовывали круги Южинского. Из центрального круга присутствовали только Лариса Пятницкая и Валентин Провоторов. Не было Жени Головина, Володи Степанова… Алексей Смирнов давно ушёл от нас… Остальные были старые друзья — поэты, художники. Леонид Губанов оставил этот мир, но другие-то были живы. Встреча получилась абсолютно сумасшедшей. Все дивились, глядя на меня… Как мне говорили, впечатление было такое, что да, это, конечно, Мамлеев, но на поверхности что-то в нём было уже другое. Не то что я имел отнюдь не маргинальный вид, что, в конце концов, пустяки — можно даже в хорошем костюме оставаться самим собой, не обязатель-

но было выглядеть крайне богемно, как было в 60—70-е годы, тем более и тогда порой попадались хорошие костюмы… Удивляла их, как они выразились, «внешняя серьёзность». Раньше они всегда видели меня как сюрреалиста в жизни, не только в творчестве и метафизике — там свои законы, — а именно в быту. Я всегда вёл себя, как «сдержанный сюрреалист», по выражению Ларисы Пятницкой, и часто хохотал над этой земной жизнью. И когда говорил о ней, то открывал всегда её абсурдные и глубоко гротескные формы, что вызывало у окружающих дикий смех, и мы хохотали вместе. Теперь они заметили, что я особенно не хохотал и не рассказывал того, что вызывало бы подобные эмоции. То есть не рассказывал так, как писал. Раньше, участвуя в беседе, я фактически писал маленькие рассказы. Сейчас ничего подобного — друзья отметили серьёзность, озабоченность, погружённость в то, что на этом свете, оказывается, есть нечто очень серьёзное, страшное, даже чудовищное, но скрытое от глаз людей. Примерно так они чувствовали.

Были слёзы, воспоминания, но всё же было и радостно, потому что чувствовалось, что железный занавес рушится, можно вновь общаться… Они мало понимали, что происходит в современном мире, я исключаю некоторых, конечно… Но главное — мы были вместе… Книги мои проникали в Советский Союз и соответствующим образом воздействовали. Лариса была в состоянии глубокой эйфории. Только Валентин Провоторов оставался Провоторовым. Но так и подобает великому поэту и визионеру. Глубина его поэзии такова, что хотелось спросить его: а для кого это написано, кто это может понять? Не формально, а по сути? Оказывается, в России есть такие люди. Я был доволен… Потеря Губанова была, конечно, очень ощутимой, во всяком случае, для меня. Я чувствовал, что его могут на время забыть по разным причинам. Но я на этом особенно тогда не зацикливался. Все мои переживания касались моего круга, Южинского, ну и, естественно, России. Мне надо было тут как-то обосно-

ваться. Меня, конечно, признавали официальные круги как писателя — я публиковался на Западе, и меня хорошо знали. И всё же я пока не понимал, какое ко мне тут отношение.

Железный занавес открывался медленно, но верно; всех пускали обратно... В дни своего первого пребывания в Союзе я не спал ночами, вел гиперактивный образ жизни, метался от одних знакомых к другим, стараясь объять необъятное. Конечно, в конце концов я увидел и Женю Головина. Он изменился меньше, чем Джемаль, но больше, чем Провоторов, потому что Провоторов вообще не изменился. У Жени был вид, довольно трудно поддающийся описанию. Он выглядел, как великий поэт Серебряного века, попавший в 90-е годы. Можно себе представить, какой у этого поэта был вид... Я, конечно, имею в виду поэта с интуитивным проникновением в современный мир. Потому что если бы это был обычный поэт Серебряного века, то он просто сошёл бы с ума, увидев цивилизацию 90-х годов, нашу или западную — неважно. Поэт же с прозрениями, оказавшийся посреди современного мира, огляделся бы и сказал: «А ведь я предвидел, что этим всё кончится». На самом деле, это не было концом. Вернее, это был и конец, и одновременно начало чего-то.

Женя выглядел чересчур эстетски, но в каком-то мистическом смысле этого слова. Он оставался самим собой — как всегда пил и как всегда оставался Головиным. Но я узнал, что между ним и Джемалем (а ведь они были друзьями; в 70-е годы я самолично сблизил их) произошёл конфликт, очень эмоциональный и серьёзный. Они разошлись, и только в последние годы это немножко улеглось — они могли хотя бы видеть друг друга.

С Дугиным за это время мы не успели пообщаться, ведь мы даже не были знакомы. Я знал о нём по письму Ларисы Пятницкой и очень многого от него ожидал. Но наше знакомство развернулось впоследствии, постепенно; во всяком случае, для меня было оче-

видно, что Дугин — серьёзное пополнение Южинского; я понял, что этот человек вошёл в ту ауру, которую продолжали создавать без меня Головин и Джемаль, ставшие его первыми учителями. А другим его «учителем» были «Шатуны». Дугин был тогда совсем молодым человеком, и я был рад, что появилась такая южинско-мамлеевская молодёжь. Южинского, конечно, уже не было; я прошёл мимо того места, где когда-то стоял мой дом. Теперь здесь высилась двенадцатиэтажка, но я разглядел-таки малюсенькое зданьице, оставшееся от южинских времён... Это меня порадовало.

В общем, я чувствовал, что каждый из нас, и я в том числе, прошёл значительный путь и что нам ещё предстоит узнавать друг друга, узнавать то, что выросло в душе и появилось изнутри, из глубин за это время разлуки.

Кроме того, я узнал, что «Шатуны» в самиздате проделывали свой тяжёлый мистический путь, и люди, которые читали этот роман, не сходили с ума, но выходили на некий уровень, который не был им знаком до чтения этого произведения. Иными словами, я видел, как эта книга меняла сознание людей, делала их другими. Этот феномен всегда сопровождал «Шатунов». Женя Головин прочёл роман, когда я был уже на Западе... Он сказал мне, что плакал, читая эту книгу. Он-то, конечно, принадлежал к тем, для кого эзотеризм не был преградой... Маячили ещё двое его приятелей, которые носили этот самиздатовский роман с собой, и они жаждали меня видеть, им было интересно, что это за человек написал такую книгу. Такая возможность представилась, потому что время посещения Москвы быстро кончилось, и насколько уже было свободно, я понял по тому, насколько свободно был организован вечер прощания со мной. На следующий день я должен был улетать обратно в Париж, и неофициально распространился слух, что, мол, будет встреча с Мамлеевым в такой-то квартире. Никаких препятствий к этому не было, хотя кто-то там дежурил, да-

же милиция приходила, но всё было вполне лояльно и культурно. Народу собралось очень много. И опять многих поразил мой вид — как они выразились, «западного интеллигента». Чего-чего, а уж такой оценки я не ожидал. Но это, конечно, было внешнее впечатление. Эти люди отдавали себе отчёт, что это было нечто вроде защитного панциря, что ли… Чтобы жить в мире потребления. Так они, наверное, решили. Не знаю, может быть, иначе. Может быть, им казалось, что меня испортил успех, но это было нелепее всего. Я не вдавался в подробности, но даже Лариса Пятницкая сказала, что, видимо, так было необходимо, чтобы у тебя, у Мамлеева, не мамлеевский вид стал.

Помню, один из читателей вскричал: «Неужели этот человек написал «Шатуны»?». Те, кто меня знал, хихикнули. Тем не менее мне было неописуемо интересно на этом вечере. Были старые знакомые, были совершенно новые лица. Они показывали самиздатовское издание «Шатунов», я им показывал «Шатуны», изданные во Франции на русском и на французском… Кое-кто ведь читал по-французски, и интересовались, например, как такое может звучать на французском языке. Но главное было в том, что в этой стихии встречи, чувствовалось, что страна стоит на переломе. Впоследствии мне рассказали, что в какой-то газете, уже в 90-е годы, написали странную фразу, что Советский Союз погубили Солженицын и Мамлеев. Я отнёсся к этому, как к абсурду, потому что никогда не участвовал в политической жизни. Тем более, к СССР я начал испытывать определённые, мягко говоря, симпатии, понимая его роль и роль советской власти в спасении страны во времена Великой Отечественной войны. Ну, и многое другое. Мы уже давно переросли односторонность подхода, потому что одно дело — коммунистическая система, другое — Советский Союз как государство, третье — народ, четвёртое — интеллигенция, пятое — будущее. А будущее принадлежит не Советскому Со-

юзу, а России. Но Советский Союз сохранил Россию, несмотря ни на что. В общем, была целая панорама эмоций.

Упомянутую абсурдную фразу из газеты мне объяснили… Ну, с Солженицыным — понятно, а вот почему автор статьи зачислил в разрушители СССР меня… Причина была, оказывается, в том, что, изображая в своих рассказах человека, я изображал современного советского человека с такой стороны, что это был вовсе не советский, а некий мистический человек, пришедший из глубин Достоевского, из глубин Российской империи, из глубин России Духа. Но никак не советский. Таким образом, я, сам того не желая, показал, что рухнула основная идея коммунизма — создать нового человека. Никакого нового человека коммунисты не создали, мало того — в России появился некий мистический человек — в лице, скажем, моих героев или тех же персонажей Южинского. А человек — мера всех вещей. Если появился человек, полностью выпадающий из советской системы, значит, эта система обречена. Игорь Холин, ещё в бытность мою в Советском Союзе, сказал мне сакраментальную фразу:

— Я поверю в то, что советская власть рухнула только в том случае, если издадут «Гулаг» Солженицына и «Шатуны» Мамлеева.

И это осуществилось. Но не в 1988 году. В 1988 году к нам приближался хаос.

Вечер встречи закончился благополучно, оставалась ночь, а на следующий день — вылет в Париж. Все эти ночи в Москве я практически не спал или спал где-нибудь на диванах, в креслах, у друзей. И на этот раз было решено провести ночь у Головина, как раз в той его квартире, какую я и посещал всегда — в квартире Белого Тигра. Женя Головин, Лариса, ещё человека два, не больше, приехали туда, и всю ночь мы бередили свои старые раны и прежние восторги. Женя в те дни был как-то неописуемо красив. Так красив человек, лежащий на рельсах приближающегося поезда и читающий стихи

французских символистов. Переход в иной мир со стихами в сознании — не самый плохой вариант. Женя был полон спокойной энергии, он продолжал писать, и вечер прошёл очень ненапряжённо, жаль было расставаться. И вообще, у меня было такое чувство при встрече со многими, хотя и не со всеми, что эти люди что-то знают. И это знание пришло за время моего отсутствия. Что-то происходило в России и отпечаталось в сознании людей, поэтому у меня было такое ощущение, что в их душах лежит нечто, может быть и близкое мне, но незнакомое. Со временем это ощущение исчезло, но тогда оно было, потому что обычно, встречаясь со своими соотечественниками, я понимал русскую душу настолько глубоко, что достаточно было полуслова, полудвижения, чтобы понять, что творилось в душе, какие цели лежат «в глубинах роз твоих».

Пятницкая с Головиным посадили меня на самолёт, и я вернулся во Францию. Отныне жизнь наша стала не только парижской. Теперь Париж — Москва, Москва — Париж. Это продолжалось в течение пяти лет, пока мы окончательно не вернулись в Россию. Эмигранты расспрашивали меня о том, как там,, хотя некоторые из них раньше меня уже успели побывать в Союзе, и воспринимали мои рассказы каждый по-своему. Но что-то общее было.

***

После некоторого перерыва в Париже, я вновь вернулся в Москву. Состоялось несколько встреч, и я уже увидел картину жизни своих друзей, соратников по Южинскому, узнал, что с ними случилось, как они изменились. Например, Алексей Лобанов, очень вдумчивый и лихой слушатель моих рассказов на Южинском, стал дьяконом православной церкви. Мы встретились, он был по-прежнему эмоционален, напряжён, словно не переставал искать некую ускользающую высшую истину. Выпили с ним пива в Сокольниках, и как-то всё с ним улеглось.

Таня Гражданкина развелась с мужем, но оставалась прежней и только восклицала при встрече со мной: «Какие люди меня окружали!» Она имела в виду 60-е годы. Ведь салон Сержа Гражданкина, первого мужа Тани, был довольно близок по духу Южинскому, настолько, насколько возможно. Серж был весьма самостоятельный человек.

У Ларисы Пятницкой родился мальчик, Юрасик. Она представила его мне. Всё это время она проводила среди художников, участвуя в организации свободных художников, которая допускалась даже в советское время. Она стала официальным художником гораздо легче, чем поэтом и писателем. Слово обладает большей силой — как созидательной, так и разрушительной, поэтому его боятся. Она вспоминала Толю Зверева, который умер в начале 80-х, вспоминала, что во время его алкогольных и душевных приключений в его кармане лежала заветная записка от союза художников, сообщающая, что он представляет собой национальную ценность. Записка была нужна на случай попадания в вытрезвитель или в милицию. Но дикий разгул не мешал Толе Звереву быть таким же глубинно талантливым, каким он был всегда. Алкоголь, увы, разрушал его, но разрушал физически.

Встретился я и с Мишей Капланом. Пересеклись мы на Пушкинской площади и пошли в сторону Южинского переулка, на место, где когда-то стоял дом №3 с моей «нехорошей квартирой». Миша удивился, что я возлагаю такие надежды на Горбачёва и на перестройку. Он вытаращил свои голубые глаза и пробормотал:

— Юра, ты стал красным…

Я расхохотался, а он пояснил:

— Мы же с тобой знаем, что они никогда не изменятся, такова их природа. От них ничего нельзя ждать, кроме их идиотских догм.

Я ответил на это:

— Миша, всё меняется. И красные могут изменить свой цвет. Ты лучше вспомни свои же стихи:

Я не бегал по соломе
Не ловил я бабочек
Каждый вечер в полудрёме
Мне шептала бабушка:
Мысли ужасом не пачкай —
Они тоже сердятся.
Золотая черепашка,
Розовое сердце.

Я прибавил ещё, что хотя мир, по большому счёту, и летит в пропасть, но не будем мешать Божьей работе. Что будет, то будет, а сейчас — перестройка. Что из этого выйдет, одному Богу известно, но сдвиг произошёл.

Очень многие были уверены в коммунистическом столбняке, что-де, коммунисты никогда не изменят своих взглядов. Но это, конечно, было весьма наивно — в недрах компартии зрели такие изменения, что сам Ленин бы перевернулся в гробу.

Вторая поездка в Союз была очаровательна; она происходила как-то на грани, потому что повсюду ещё висели неизменные портреты и бюсты Ленина, которые, казалось, ухмылялись и говорили: «Верной дорогой идёте, товарищи!» В то же время было видно, что с «верной дороги» свернули уже далеко в сторону, и может быть, даже в очень опасный овраг. Я не думал, что в пропасть, но лёгкие опасения уже были.

Почти весь этот период я провёл на даче в Валентиновке, у Джемаля. Он жил там со своей молодой супругой. У нас было время пообщаться. Беседы уже не были такими изощрённо-глу-

бинными, какими они были в 60-е годы, когда мы действительно опускались на грань между мыслимым и немыслимым. Всё стало немного проще, потому что Джемаль стал более социален и вовлёкся в так называемую общественную деятельность. Он связался с обществом «Память», хотя это мало ему подходило, и кроме того, были какие-то другие влияния. Но как бы то ни было, Джемаль оставался Джемалем, и наши вечера и даже утренники, когда приезжали к нам старые наши знакомцы, например, Володя Степанов (я узнал, что вокруг нашего «главного суфия республики», как его называл Женя Головин, образовалась целая группа людей, а он был их молчаливым учителем). Познакомился я тогда и с философом Сергеем Жигалкиным. Как и Дугин, он возник уже в тот период, когда я уже не присутствовал в России. Были и новые вливания.

Дача Джемаля была для меня оазисом. Стоило оказаться в Москве, как сразу начинались волнения, потому что все старые связи, старые друзья, всё оживало, и я был с ними в контакте так, как будто они встали из гроба. Я был на Западе, и они были так далеко, как будто жили в ином мире, поэтому такой образ вполне уместен. Они как бы явились мне снова, когда я пришёл к ним в мир иной, ибо Россия всегда — мир иной, и это здорово.

Между тем в контакт с внешним, уже не вполне советским, миром я не вступал. Единственным обитателем этого мира, с которым я поддерживал дружеские отношения, был Юрий Нагибин. Мы с Машей неожиданно сошлись с ним сначала в Америке, потом в Париже, а потом и в Москве — с ним и с его милой женой Аллой. Других контактов с официальным советским миром у меня не было. Правда, я навестил ещё Сашу Проханова. Я не считал его особо советским по его мировоззрению, потому что когда мы встретились в далёких 60-х, он был даже антикоммунистом, приверженцем русской идеи, что меня трогало до глубины души. Я уже описывал наши с ним встречи тогда, но сейчас всё было по-друго-

му — новая Москва шла навстречу неизвестному будущему, чреватому многочисленными опасностями, неожиданными пропастями, безднами, ибо всё менялось в этом падшем мире, и Россия, как всегда, подвергала себя неожиданным ударам, попадала в неожиданный круговорот, который она, может быть, и предвидела, однако в действительности всё происходило совсем не так, как рассчитывали. Проханов был мне другом не по жизни, как обычно бывают друзья; он был мне друг по душе, была глубокая общность. Он не был похож на моих друзей с Южинского, он был совершенно другим человеком. Те — совершенно особый круг, это касалось крайнего блуждания по метафизическому пространству, которое могло нас далеко завести. Это были уникальные отношения…

Когда я приехал в СССР во второй раз, я сразу же попытался связаться с Прохановым. Я был удивлён — ещё в Париже до меня дошёл слух, что он участвовал в афганской войне, стал советским патриотом. Но я почувствовал подоплёку всего этого — он, может быть, и стал советским патриотом, но на самом деле он стал патриотом больше, чем советским — он стал патриотом великой России, которой уготовано таинственное будущее, ибо этот мир настолько подвержен неожиданностям и неведомым событиям, что сама его история в глубоком смысле слова носит таинственный характер. Когда людям предоставлена полная свобода, можно ожидать всего — и лучшего, и худшего.

Когда мы встретились, получился замечательный вечер. Он пояснил мне свой взгляд на ситуацию в России. Тогда ещё он был полон некоторых надежд, несмотря на то, что опасения сквозили в каждом его слове. Он сказал мне, что рассматривается два проекта: один основан на ценностях России, другой основан на ценностях этого века как они понимаются на Западе. И это, видимо, необходимо, потому что нужно положить конец холодной войне, которая неизвестно чем может кончиться. Проханов видел опас-

ность всего этого, поскольку Россия, конечно, может пойти навстречу и сделать огромные уступки, но удар ножом в спину ей, возможно, будет нанесён, и этот удар будет мощным. Надеяться на добрую волю в мировой политике бессмысленно, но считалось, что не добрая воля приведёт к равновесию и прекращению холодной войны, а страх перед всеобщим уничтожением. С точки зрения логики это имело значение, поскольку страх лежит глубоко в основе жизни человека в этом мире. Поэтому можно было рассчитывать на «позитивность ужаса». Но люди в то же время глупы и самонадеянны, и Россия, так или иначе, пускается в незнаемое плавание. Так думали тогда, в 1988 году, немногие. Проханов принадлежал к этим немногим. Но уже в 89-м и 90-м эти соображения всплыли на поверхность океана жизни, как некие чудовища.

Я заглянул в Париж — там продолжалась та же жизнь. В ту пору я работал над важной философской книгой «Судьба бытия». Мы с Машей надеялись на хороший исход в ближайшее время. Сам факт падения железного занавеса нас обрадовал до безумия. В следующие годы (89-й, 90-й) этот занавес просто распахнулся. Мы не преминули этим воспользоваться и уже с 90-го года стали посещать Россию вместе. 1989-й был годом перелома, когда в конце его горбачёвский вариант перестройки окончательно восторжествовал.

В 1989—1990 годах за мной уже ходили советские издатели с целью публиковать мои книги. Но первый шаг был сделан, если мне не изменяет память, летом 1989 года в газете «Книжное обозрение». Это ещё было советское время. Помог мне в этой публикации Юрий Нагибин. Это были два рассказа — «Не те отношения» и ещё один, я уже точно не помню, какой. Рекомендуя мои рассказы к печати, Нагибин сказал, что, дескать, автор — эмигрантский писатель, уже известный на Западе, а сейчас перестройка, надо публиковать. Редактор, прочитав рассказы, был в шоке и сказал, что не может решиться их обнародовать. Нагибин, как он мне рассказывал, удивился такому

повороту событий и спросил: «Почему? Там же нет никакой антисоветчины, там нет и тени политики». Редактор с этим согласился, но при этом заметил, что персонажи этих рассказов выглядят настолько странными, и вся ситуация настолько необычна, что он просто не знает, что ему делать. По его мнению, эти герои одновременно с тем, что они как будто бы люди, в то же время живут в некоем другом измерении, поэтому они как бы и не люди. Это довольно неожиданные существа. Кто они? Рассказы производят впечатление даже не сюрреалистическое, а какого-то открытия в человеке, таких глубин или уголков, благодаря которым человек перерастает в какое-то другое существо. Таково было его мнение. Он был немного напуган и заметил, что такие герои — явно не герои социализма, явно не герои советской жизни. Он сказал Нагибину:

— Если я это опубликую, тебе придётся меня содержать.

Нагибин расхохотался и дал ему слово, что если его уволят, то он будет его содержать. Редактор колебался, но при такой рекомендации всё-таки в итоге сломался и опубликовал. Это были мои первые произведения, опубликованные в Советском Союзе. Особых последствий для редактора не последовало. Перестройка была в самом разгаре, и перестроечное начальство, по всей видимости, считало, что чем больше хаоса и всяких необычностей, тем лучше. Лишь бы сбить читателя с догматических установок соцреализма, что, мол, жизнь идёт по правилам, установленным советской идеологией. Всё это было очень смешно и в то же время немного грустно, потому что уже была очевидна огромная власть СМИ над умами людей. Где-то к 1989 году отношение советской интеллигенции к власти носило уже весьма и весьма критический характер. Оно было примерно таким же, как у нас в 60-е, только выражалось в более примитивной и в чём-то даже нелепой форме. Так или иначе, эта власть с её бесконечными запретами порядком надоела образованным людям.

В 1989 году я на время остановился у Юрия Нагибина в его московской квартире (он сам жил с женой на даче). Мы с Машей потом часто посещали его. Наши отношения были основаны на признании таланта; он, часто читая мои рассказы, как рассказывала его жена, хохотал, и к этому хохоту присовокуплял: «Нет, я так бы не смог написать». Единственное, что меня удивляло, это то, что общество, которое его окружало и которое мы видели у него на его роскошной даче, это были люди не из литературных кругов. Это были учёные, военные, самые разные и очень интересные люди, но ни одного писателя или поэта. Я справился у Нагибина об этой странности. Он ответил уклончиво, но я заключил, что отношения между писателями в советское время были весьма непросты, в основном из-за карьерных реалий — кто-то добивался колоссального успеха и, соответственно, материального благополучия, кто-то не мог ничего такого добиться и так далее… Тем не менее, я помню, что он с большой теплотой отзывался о Евтушенко, потому что Евтушенко позвонил Нагибину, после того как прочёл его рассказ «О любви».





1. Юрий Мамлеев
и Евгений Головин
Москва, 1994 год

2. Юрий Мамлеев
на писательской даче

3. На даче Джемаля
в Валентиновке
(слева направо):
Игорь Дудинский,
Людмила Котлярова,
Нина Дудинская,
Гюльнар Джемаль,
Владимир Степанов,
Татьяна Агеева,
Гейдар Джемаль
и Юрий Мамлеев

4. Юрий Мамлеев
и Валентин Провоторов

5. Юрий Мамлеев
и Аркадий Ровнер

6. Юрий Мамлеев
и Мария Мамлеева



3


4


5


6

7. Елена Джемаль, Евгений Головин и Евгения Дебрянская

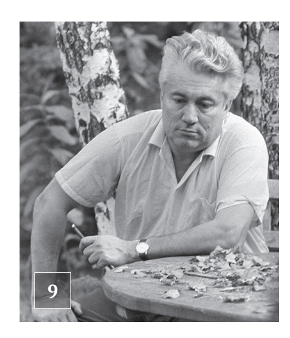
8. Юрий Мамлеев, Сергей Жигалкин, Гейдар Джемаль





9. Юрий Нагибин

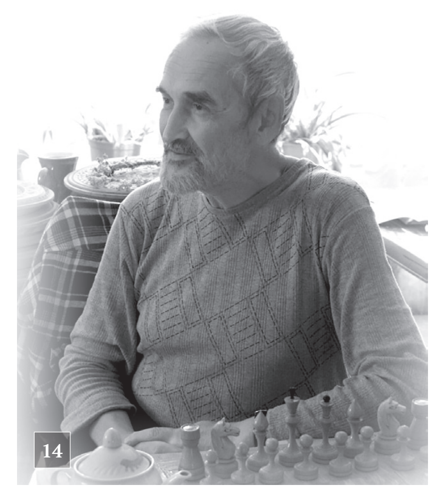
10. Юрий Мамлеев и переводчица «Судьбы Бытия» Амината Аленская на 80-летии писателя











11. Юрий Мамлеев

12. Борис Козлов, Юрий Мамлеев, Игорь Дудинский

13. Евгений Головин и Лариса Патницкая

14. Владимир Степанов

Маша

В самом конце 1971 года, где-то уже в декабре, в месяц моего рождения и перед Новым годом и Рождеством, произошло событие, которое перевернуло мою жизнь и определило её на все последующие десятилетия.

Это была встреча с женщиной, которая стала моей женой. Её имя Мария. Решающая встреча произошла хмурым зимним утром. Каким-то образом я оказался около её дома и, чувствуя в душе какую-то неопределённость и тоску, позвонил ей. Я знал её, но то были мимолётные встречи в разных компаниях, но, естественно, нашего круга. Она была приятельницей художницы Риммы Заневской. Я позвонил, и она пригласила меня к себе. Она жила тогда одна у метро «Красносельская». С этого и началось подлинное знакомство. Наши настроения совпали. Но внезапно я сразу почувствовал в душе нечто более глубокое. Потихоньку в душе начинался пожар, всеохватывающий жар, приближающейся, ещё не осознанной любви.

Не помню уже, о чём мы говорили, но главное было в том, что стояло за этими словами…

И вот таким тихим, зимним, как будто незаметным утром было ознаменовано начало нашей любви, которая длится и по сей день.

Что меня поражало и восхищало в Маше, так это сочетание красоты, женственности с не просто высоким умом, но и тончай-

шей душой, нежной, широкой, многосторонней, впитавшей в себя и эстетическое отношение к жизни, и глубины Достоевского. Но главное было не в этом. При всём естественном различии многих наших черт, было нечто тайное, глубокое, может быть, необъяснимое, что соединяло наши души навсегда. И Маша, и я совершенно ясно осознавали это. И когда это тайное, глубинное вспыхивало, все недоразумения уходили прочь, а различия не играли роли. Души объединились в одно силой, которой нет названия.

Наша любовь совпала с крещением Маши. Я тут сыграл некоторую роль, но, конечно, её душа была готова к этому, и за крещением последовало глубокое изучение православного вероучения.

Всё это происходило на фоне приближающейся эмиграции из Советского Союза. Мы заключили брак, но венчание, то есть наше соединение пред Богом, состоялось уже в Америке в 1976 году, после того как я тоже принял крещение в нашу православную веру. Весь 1972 год в целом прошёл в отрешении от мира сего, в нашей любви и до некоторой степени в отказе от прежних общений.

Но уже в 1973 году мы почувствовали, что избежать жизненных решений не удастся…













Юрий Мамлеев
и Мария Мамлеева



Что такое счастье

Весной 2013 года я лежал больной, одинокий, в палате на 4 человека. Все они были тяжело, если не безнадёжно больны. Я лежал изрезанный и чувствовал себя живым, но обречённым.

И вдруг в коридоре я услышал шаги, далёкие шаги, скорее какое-то дуновение. Я не мог ошибиться, это была она, Маша. Шаги приближались, и я, полутруп по существу, внезапно почувствовал прилив живительного, как воздух, счастья. Это чувство стремительно ширилось, пока не объяло меня полностью. Я чувствовал, как будто душа моя поднимается вверх над израненным телом, свободная и счастливая. Это были шаги моей жены, Маши.

И она вошла. Лицо её просияло, и мы потянулись друг к другу как бы одним движением души. Я пережил в своей жизни много разнообразных чувств и мгновений, когда я достигал, например, чего-то важного, существенного… Но такого счастья в почти безнадёжной, честно говоря, ситуации я не испытывал никогда. Как будто смертельно раненый человек, пригвождённый к земле, испытывал небесное, лёгкое счастье, которое он не испытывал никогда, в самом наилучшем состоянии.

Этим неповторимым счастьем я обязан Маше.

Машенька любимая, ангелом хранимая
Нежная душа
Ласковая, добрая, нежностью ранимая
На земле она

Красотой отмечена
Ты стоишь пред вечностью
С тихою улыбкою
Смотришь на меня

Мы с тобой повенчаны
Силой духа вечного
И его огня

***

1989-й, 1990-й и первая половина 1991 года — это была стихия знакомства с изменяющейся Россией. Постепенно черты, неожиданные и новые, стали бросаться в глаза прямо на улицах. Вдруг возникала реклама, воспевающая буржуазные добродетели. Наряду с этим ещё мелькали то тут, то там изображения Ленина. Картина была вполне сюрреальная, достаточно тревожная и в то же время исполненная надежд. Среди новых встреч, новых знакомств я всё же стремился восстановить если не традицию Южинского, то хотя бы какие-то его черты. И Головин, и Дарик говорили мне, что это невозможно, что это было настолько уникально, что неповторимо даже в России с её немыслимой амплитудой духовных колебаний и движений в сторону чего-то скрывающегося, таинственного, ждущего откровения…

Но во всяком случае, были в Москве два уголка, отдалённо напоминающие Южинский. Одним из них была мастерская уже упомянутого Льва Кропивницкого, художника, основателя абстракци-

онизма в России. Мы были знакомы с 60-х годов, при Сталине он сидел за своё творчество. Но сейчас это был уже известный в России мастер — он выступал даже по телевидению. Вот насколько изменилось время — прежде гонимый стал известным. Мы были хорошими приятелями, и я даже почитывал в его компании свои рассказы, в том числе новые. Компания там была в основном похожая на тот избранный круг, который он имел в 60-е. Это были люди, близкие к искусству и в то же время как-то интуитивно связанные с литературой. Чтения проходили в уютной, с духом старой Москвы, мастерской Кропивницкого. Атмосфера там была вполне подходящей для моих рассказов. Однажды мои рассказы там читала Маша. Как я уже говорил, она читала их так, как не удавалось никому в жизни, даже моим самым глубинным поклонникам. Она настолько преображалась и в то же время оставалась самой собой, что слушатели не различали, читает ли она мои рассказы или я сам читаю их. Настолько она владела духом моих рассказов и моим внутренним творческим духом. Он был в ней, она сливалась с ним. Поэтому её чтения всегда производили ошеломляющее впечатление. Её встречали, как меня.

У Кропивницкого мы забывали, где день, где ночь. Собирались люди, и словно воцарялась атмосфера старого Южинского. Но без особых эксцессов — алкогольных напитков было хоть и вдосталь, но благородно и без избытка. Я читал там, и это напоминало бы Южинский, если бы не ситуация, когда ты выходишь после чтения на улицу — аура улицы уже была другой… Что-то искреннее и настоящее, безусловно, сохранялось, но в то же время присутствовало нечто напряжённое, даже истерическое, и это меняло ауру города. Это чувствовалось во всём понемножку.

Я помню, как-то раз сидел у Ильи Глазунова, и мы долго беседовали. Впоследствии он пригласил меня читать курс лекций по философии в его знаменитом художественном институте. Я при-

нял его приглашение и год читал лекции у него, после чего перешёл в МГУ, где преподавал индийскую философию. И вот после встречи с Глазуновым, уже поздно вечером, я решил заглянуть к Дугину, с которым мы с Машей очень сблизились за время наших прорывов в Москву. В Париже продолжалась та же жизнь, но она уже менялась для эмигрантов, потому что ворота домой были практически открыты. И в то же время Париж есть Париж. В Москве мы с Машей находили всё разнообразие российской жизни — и старой, и новой. Так вот, когда я попал почти уже ночью к Дугину, мы просидели некоторое время. Потом я возвращался к тёще, у которой остановился, и заметил, как изменилась ночь в Москве. На улицах появились подозрительные люди в банально-криминальном смысле. Ничего подобного никогда не было в советской Москве. Эти странные личности возникали, исчезали, снова появлялись, и неожиданно около меня притормозила машина. Из неё выскочил человек нерусской внешности и бросился на меня. В этот момент остановилась другая машина, и из неё тоже выскочил человек, но уже русский. Он бросился на нерусского, оттеснил его и начал ему что-то объяснять. Нерусский оцепенел, сел в машину и уехал. Я вернулся к Дугину.

Знаменательным для меня эпизодом было чтение рассказа «Чарли» из цикла «Американские рассказы». Это было у Жени Головина, в компании его очередных поклонников, которые благоговели перед ним, и он был средь них царь духа… Это происходило не в такой драматической ситуации, как у Кропивницкого, потому что у Кропивницкого присутствовал некий драматизм; я уже не помню его истоков, но он был. А здесь была наша, нормальная, Южинская атмосфера потаённой земной метафизики. Хорошая комната в центре Москвы. Я прочёл этот рассказ, он был новый, его никто не знал; он был написан в Париже, как и весь цикл. Кстати, этот цикл был единственным, большая часть рассказов которо-

го была написана при некоторой поддержке священного напитка. Обычно я никогда не прибегал к подобной помощи, всегда писал с чистым разумом, но вот здесь я… это была не то что помощь, а некоторая «окраска», потому что эти рассказы было невыносимо писать без небольшой дозы алкоголя — настолько они были внутренне ужасающими. И ужасали они совершенно по-другому, чем, скажем, мои ранние рассказы, потому что даже если в самых ранних своих рассказах я описывал нечто, на первый взгляд, ужасное, то это ужасное было связано с проникновением в глубины ради достижения какого-то немыслимого предела, за которым уже начинается ночь, и разум не может туда проникнуть. Либо же я описывал ситуации предельно метафизически конфликтные, так что это был оправданный ужас, он фактически вёл к свету через падение, ощущение демонических сторон жизни, разрыв с ними и выход. Выход был обязательно. В общем, это не противоречило самым глубоким духовным учениям древности о существе нашего земного мира, о том, что он дан для больших испытаний. А в «Американских рассказах» был совсем другой ужас. Как сказал один критик, даже в своих крайних, обычных рассказах Мамлеев описывал падший современный мир… Но и он у него получался с каким-то изгибом, выходом, необычностью… Ибо действие происходило в России. А в «Американских рассказах» изображён просто мёртвый мир. Поэтому, — заключал этот критик, — лучше быть падшим, чем мёртвым.

Это воистину так, потому что падший может восстать и идти туда, где человек связан с Божеством. А мёртвый мир — это мёртвый мир. Мёртвый, разумеется, духовно. Он может быть очень весёлым на внешний глаз, но это ничего не меняет. Его внутренняя суть — так называемая вторая смерть.

Когда я прочёл «Чарли», Женя был весьма и весьма ошеломлён, ему очень понравилось. Он признал правоту этого расска-

за, хотя и буркнул при этом, что, мол, «и советская жизнь была не из лёгких». Впоследствии он удивлялся и говорил мне, что он никогда не думал, что его самого будут печатать в России… Он имел в виду газету «Завтра». Такие глубинные стихи, мистические, разрывные должна была печатать пресса времён Рембо, но никак не буржуазно-коммунистическая…

Головина в рассказе «Чарли» задели (в хорошем смысле) некоторые детали, в частности описание того, до какой степени профанации можно довести религию, церковь. Он сказал, что у него возникло ощущение профанации профанированного, ведь главный герой рассказа — священник, уволенный, правда. Профанация религии в современном мире настолько грандиозна (я имею в виду, конечно, не православие, которое держит свою душу неизменной в России, в Греции, в Сербии, а западные современные церкви, в основном протестантские), что когда-то реальная религия утратила не только свою христианскую суть, но и сами черты религии. Церковь превратилась в политизированное, приспособленное к бытовой психологии учреждение. Она стала чем-то настолько банальным, что, по выражению Блока, «покров острова смерти» в начале XX века был налицо, к великому сожалению, потому что, пожалуй, только после Второй мировой войны была поколеблена та великая европейская культура и сама Европа, та Европа, дух которой проникал в нас через литературу. Впоследствии мне рассказывали про одного американиста из Санкт-Петербурга (я мельком видел его на одной из встреч), который после чтения моих «Американских рассказов», по его собственному выражению, «заболевал на 2–3 дня». Что может быть незаметнее и страшнее духовной смерти? Но такова жизнь на нашей планете.

В Москве мы с Машей были вовлечены в целый калейдоскоп самых разнообразных встреч, не только с «южинскими». Очень трогательным было посещение Александра Харитонова, изуми-

тельного художника, романтика, одно время постоянного члена Южинского кружка. Лариса Пятницкая опекала его тогда. Выяснилось, что он перенёс инсульт и был частично парализован. Но его жена ухаживала за ним и была ему верна до конца его дней. Когда я приехал к нему, он узнал меня и был очень рад встрече. Он мог говорить, а главное — мог рисовать. Его картины по-прежнему оставались романтическими, напоминающими скорее мифологические сюжеты XIX века, чем современное искусство. Но в то же время его изображения святых были настолько одушевлены и чисты… Эти контуры церквей… Ещё в 60-е годы его очень высоко ценили те, кто любил настоящее искусство.

Причиной инсульта был внезапный сильный испуг… Он был в деревне и чего-то очень испугался. То ли это было видение, то ли это были какие-то странные люди… Это тёмная история. Он, кстати, бросил пить ещё в конце 60-х, но это не спасло его от удара. Было удивительно, что несмотря на такое состояние, он по-прежнему жил в своём мире, и его картины очень ценились не только любителями и профессионалами, но и теми, кого его картины уводили из этого мира в другой — святой и лёгкий. Мы расстались, и больше я его не видел. Он ушёл в лучший мир.

Александр Дугин стал настоящей находкой для Южинского. Как я уже говорил, Джемаль и Евгений Головин стали учителями молодого Дугина, я же воздействовал на расстоянии, через самиздат. Эти влияния понемногу создавали того Дугина, которого мы знаем. Этот человек был готов к принятию эзотеризма в самом юном возрасте, и это было большой редкостью. Можно сказать, это была метафизическая удача. Он обладал феноменальной работоспособностью, из-под его пера вышли объёмные труды по мировой метафизике. Чего стоило, например, появление книги «Конец мира», где были собраны основные эсхатологические учения. Наибольшее впечатление из того, что ему приходилось читать, на

него произвели «Шатуны». По его собственным словам, эта книга перевернула его. Видимо, он прочёл её именно в эзотерическом ключе. Он писал мне в Медон, и по тону его писем я чувствовал, что действительно — в нашем полку прибыло.

В общем, было ощущение, что как будто всё восстанавливалось, хотя уже тогда чувствовалась некая разобщённость. Частично это было связано с уходом Джемаля в ислам, но в то время это ещё не было так сильно проявлено, как впоследствии. Его работа «Ориентация – Север», которая вышла в самиздате с помощью Игоря Дудинского, произвела на меня впечатление. Это была чисто метафизическая работа, и было видно, в каком направлении двигается автор. У всех нас был собственный подход, но где-то были точки соприкосновения, иначе не было бы такого понятия, как «Южинский круг».

Приезжала в те годы в Москву и Татьяна Горичева. Я познакомил её с Дугиным и его семьёй, с удивительной Наташей, которая потом (как и сам Дугин) стала профессором философии в МГУ. В 1989 году в Санкт-Петербурге благодаря усилиям Татьяны увидела свет наша с ней книга «Невидимый град Китеж», написанная в эмиграции. Мне было интересно, как примут эту книгу, и на одной из встреч в Москве я познакомился с человеком из Петербурга, который был из университетских кругов и читал её. Он был, по его собственным словам, ошеломлён этой работой и заметил, что большинство книг уйдёт, но вот эта останется. Мне было важно это услышать, потому что я пытался понять, насколько моё учение о России соответствует духу конкретного русского самосознания, как это отражается в душах людей, близко им это или нет. Впоследствии я обнаружил интуитивную мистическую близость этого учения русским душам.

Потом, уже в начале 90-х, когда всё более и более усиливалась тревога по поводу судьбы России, я прочёл Дугину эту ста-

тью — «Невидимый град Китеж». Я был поражён его бурной положительной реакцией на прочитанное, и это вселило в меня уверенность, что я на верном пути. В том плане, что моё понимание России соответствует тому, что заложено в душах людей. Помню, я тогда заночевал у Дугина; я был один в Москве, и этот вечер мне запомнился. Тем более именно тогда оказалась у Дугина, с моей помощью, Таня Горичева. Судьбы пересекались.

Когда мы стали приезжать в Москву вдвоём с Машей, контакты, разумеется, расширились. Было ощущение какого-то запоя от этих встреч со старыми знакомцами, приятелями, даже отдалёнными. Всё это напоминало возвращение на родину и в то же время как будто мы оказались на другой планете по сравнению с той, на которой мы жили в эмиграции.

Кроме того, огромнейшим событием, в котором мы с Машей приняли участие, было празднование 1000-летия крещения Руси. Тогда ещё сохранялась советская власть, и видно было, насколько этот праздник воздействовал на советское руководство и, естественно, на всю Россию. При встречах с разными людьми становилось ясно, что внезапно все коммунистические вожаки, руководители, партийцы вдруг почувствовали вечную, несгибаемую мощь православия. Тысяча лет подействовала на них как некая магическая сила, во всяком случае, они чувствовали, что процарствовали 70 лет и уже выдохлись, уже видно, что всё идёт на спад. Марксистско-ленинское учение вызывает смех не только у советской интеллигенции, но и у самих партийцев. Одно абсолютное обнищание пролетариата при капитализме чего стоит. Роль капитализма страшна, однако совершенно в ином смысле, чем полагал Маркс.

Таким образом, произошёл тайный психологический поворот. Чувствовалось, что советская власть становится бессильной перед веяниями нового — ведь даже Наполеон писал, что человеческое общество не может нормально существовать без религии.

И это почувствовали многие из советского руководства. Таково было дыхание времени.

Вместе с тем чувствовалось, что обрушение коммунистической идеологии создаёт вакуум, в который может ворваться не только нечто светлое, но и самые разнообразные веяния — страшные, разрушительные, русофобские и так далее. Но для нас с Машей это был просто праздник, и тогда ещё, в конце 80-х всё ещё было овеяно надеждами на то, что поворот совершится исключительно в правильную, светлую сторону. Уже в начале 90-х было ясно, что это не так, что в судьбу России вмешиваются другие силы и что отсутствие политического творчества, узость мышления коммунистического руководства могут иметь катастрофические последствия для страны.

***

...Наша жизнь неслась между Москвой и Парижем. В Париже ещё оставались крупные писатели, такие как Максимов, Марамзин, поэт Кублановский. Лимонов, по-моему, уже куда-то исчезал по своим делам. Наше окружение, наши друзья, художники, Татьяна Горичева, Сурен Меликян были всегда под рукой. Так же, как и наши французские друзья, с которыми мы всегда поддерживали контакт. Но ветер перемен во второй мировой сверхдержаве доносился до всех уголков земли, потому что пророчил огромные изменения в геополитической карте мира. Все с нетерпением ждали, что будет. Мы — надеялись.

В самой России в начале 90-х годов стали издаваться мои книги. Вышли три книги рассказов, и первая, большим тиражом, более 100 000 экземпляров, вышла с предисловием Юрия Нагибина. Он на моём примере показывал нелепость советской цензуры, враждебной настоящей литературе, какой бы странной она ни казалась чиновникам. Продолжались публикации и на Западе.

Словом, мы с Машей уже в полной мере окунулись в московскую жизнь, каждый год по два-три раза наведывались в Москву, в Санкт-Петербург, а в 1991 году умудрились приобрести дачу в Подмосковье. Наше решение вернуться на родину было стремительным и бесповоротным. Но при этом сохраняли мы и то, что у нас было на Западе. Хочу напомнить, что самое радикальное решение — перебраться из США во Францию — было принято скорее Машей, чем мной; она поторопила это решение, которое я откладывал. Её решительность спасла ситуацию. Переехав во Францию, мы сразу почувствовали себя более свободно. Начало перестройки сулило открытие ворот в Россию, а Россия и Франция фактически соседи. Психологически это было очень важно — с одной стороны, Франция в культурном отношении всегда была дружелюбна по отношению к нам, столько эмигрантов нашли приют в этой стране, в том числе и мы. Мы были ей очень благодарны. Кроме того, культ литературы во Франции очень способствовал тому, что я был признан как писатель, хотя я не могу в этом отношении жаловаться и на Соединённые Штаты — после первой же книги я был принят в американский ПЕН-клуб.

Несмотря на то, что Франция становилась нашим домом во время скитаний, притяжение России было совершенно иного рода — не только потому, что она была нашей родиной, но и ещё по каким-то другим, более глубоким причинам. Это было ни с чем не сравнимое притяжение. Надежды, связанные с этим, ещё усиливались тем, что первое время мы думали, что перестройка выльется в радикальные изменения советского строя такого рода, что всё негативное в нём исчезнет, а именно — преследование религии, творчества, многочисленные деспотические запреты, а возможно, останется социалистическое общество, поскольку мы уже чувствовали, что социализм вовсе не так плох, как это нам казалось. В капитализме было что-то очень хищное и неприятное. Ещё

был вариант контролируемого капитализма, или чего-то среднего между социализмом и капитализмом. Итак, мы надеялись получить и родину, и свободу.

Первые мои выступления в России привлекали много народу, и я сам впитывал ауру своей покинутой родины. Я уже чувствовал приближение каких-то глобальных изменений. Тревога началась приблизительно в 1990-м и усилилась в 1991-м году, и она охватила всю эмиграцию. Я это чувствовал, глядя на Максимова, который с напряжённым вниманием следил за всем, что происходит в России. Ему казалось, что «идёт Февраль». Но, к сожалению, это не был «Февраль», это было нечто новое.

Изменения произошли, во-первых, в психологии людей. Мы принимали участие в разного рода встречах, собраниях и видели, что часть людей абсолютно захвачена потоком перестройки и того хаоса, который она несла, и что они совершенно не осознают реальной ситуации. Они были просто ведомы, и их эмоциональный настрой указывал на то, насколько легко можно управлять людьми. Самое тревожное было в той удивительной глобальной социально-политической наивности, охватившей массы. Все полагали, что хаос перестройки ведёт к процветанию, и всё это было в некоторых случаях настолько по-детски... Люди напоминали детей, а детей, как известно, обмануть очень легко. Обман шёл не из России, а издалека. Когда знаки тревоги начала 90-х уже обросли конкретной реальностью, стало ясно, что грядут страшные, невиданные метаморфозы, что страна распадётся, и неизвестно, что с ней после этого будет, тогда уже возник вопрос: какова цена свободы? Нужна ли свобода в том случае, если тебе говорят: вот ты свободен, скажем, 2–3 года, а после этого тебя расстреляют. Кто согласится на такой вариант? Было предвидение, что готовится разрушение страны, и какой смысл был бы в свободе, если бы мы потеряли свою страну, свою родину, потеряли всё, на чём основа-

на наша литература и наше сознание? В случае, если России была уготована гибель, и эта гибель осуществилась бы, свобода обменивалась на смерть. Лучше быть живым и несвободным, чем свободным, но мёртвым, хотя у мёртвых нет никакой свободы. Этот призрак разрушения всё время страшно висел над нами. Мы не могли понять одного — как можно в мировой политике доверять иностранным державам и вообще кому бы то ни было. Было ясно, что грядущая политическая сдача позиций основана частично на желании прекратить холодную войну, прекратить ядерное противостояние и, тем самым, подарить миру мир. Но если это было внушено, и благодаря этому внушению Россия пошла на огромные уступки, то ясно, что это тотальная иллюзия, что наше доверие не превратит наших партнёров в ангелов божьих и что разрушение России будет продолжаться, а наше доверие этому разрушению послужит. И что холодная война всё равно продолжится, пусть и в другой форме, и политическая цель всегда останется той же самой — разрушение России и её уход с мировой арены. Это, конечно, была идеальная цель. Максимов, кстати, абсолютно чувствовал это. Менялись только формы. По всем признакам это было так.

С другой стороны, теплилась надежда, что всё обойдётся. Но что, собственно, обойдётся? Как-то в издательстве «Молодая гвардия» я познакомился с одним из редакторов. Это был уже пожилой человек, убеждённый коммунист, но необыкновенно приятный. Когда я его спросил: «Неужели ваша система рушится?» Он ещё до того, как это разрушение стало геополитическим фактом, сказал: «Да, всё кончено. Уже ничего не спасти. А вот у вас, — и тут он вернул мне наброски моей будущей книги «Россия Вечная», — ничего не рухнет, потому что ваш текст основан на вере в Россию. А вера, если она имеет основания, — вещь серьёзная». На этом мы расстались. В его словах прозвучала некая убеждённость, которая убедила и меня в произошедшем политическом чуде — коммунисты отме-

нили сами себя. Отменили по разным причинам, это дело историков — изучить, что произошло и как, в чём истинные причины… Я не хотел бы в это влезать, потому что это дело очень важное и должно быть основано на скрупулёзном изучении действительных, пусть и скрытых, фактов. С моей точки зрения, главная причина катастрофы крылась в политическом бессилии и невежестве компартии и её руководства. Они, как мастодонты, были сильны только в своём протоптанном направлении. Чуть в сторону — и они становились бессильными. В отличие, например, от китайской коммунистической партии, которая превратила свою страну в сверхдержаву. Это был пример творческого подхода в геополитике, и слова Дэн Сяопина стали основополагающими: «Я прежде всего китаец, а потом уже коммунист». 5000-летняя история Китая встала на дыбы, она была на его стороне. Этот реформатор сделал новый Китай. У нас же ничего подобного не получилось. Как я вспоминаю, моя тётушка рассказывала мне, как во время жуткой революции 1917 года у церкви видели старика. Кто он был? Нищий, святой, проповедник, визионер? Но он сказал о большевиках:

— Как внезапно пришли, так внезапно и уйдут. Но не скоро.

И они ушли не скоро — через 70 лет. Я помню, как многих глубоких и честных людей, как в России, так и в эмиграции охватил ужас, потому что было ощущение, что страна просто сама по себе хочет уйти из истории, исчезнуть.

То, что произошло в 1991 году, было продолжением наших надежд и опасений. Я был необычайно рад, что России возвратилось её священное имя. «Советский Союз» — это было механическим сочетанием слов, лишённым сакральности, а вот «Россия» — это совершенно другое. Это изменение названия сразу воскресило связь со всей тысячелетней историей России. И дотысячелетней, доисторической, таинственной России, возникшей на Севере, о которой мы почти ничего не знаем. Самовосстановле-

ние этого слова внушало то, что Россия останется неколебимой, что так или иначе она выберется из ловушки, в которую попала, и исполнит своё предназначение.

Лозунг первых дней перестройки — «берите столько, сколько сможете», конечно, был ужасен. Но гораздо более страшным был другой лозунг, который не рекламировался, но на деле осуществлялся — «разрушайте всё, что можете». Все разрушительные силы, которые обрушили на нас наши давние противники, ставшие вдруг друзьями, — всё это превращало мировую историю и в трагедию, и в нечто загадочное, тревожное по поводу общей судьбы рода человеческого. В то же время было ясно, что этим разрушительным действиям можно противостоять. Я не имею в виду появившееся сопротивление снизу, всевозможные партии и прочее, я имею в виду сопротивление на самом верху. Оно, без сомнения, было. Наверху было много людей, которые делали всё для спасения России. Но опасность была, и если бы не силы сопротивления, Россия просто бы не выжила. Было бы введено внешнее управление, и наша страна превратилась бы в колонию со всеми вытекающими последствиями.

Но наиболее опасными были результаты перестройки в сознании людей. Если прочесть газеты и журналы 90-х годов, особенно некоторые статьи, то волосы просто встанут дыбом, потому что открытым текстом писались вещи, которые могли происходить только в оккупированной стране; там предлагалась просто капитуляция, даже в системе обороны. То есть это могло привести попросту к потере обороноспособности страны. Хотя, конечно, это были всего лишь статьи. Одним словом, Россия снова принесла себя в жертву. Если в 1917 году и в последующих она принесла себя в жертву ради мировой революции, ради бунта бедных и отчаявшихся против богатых и тупых, то сейчас она принесла в жертву свою безопасность во всех смыслах этого слова — не только эконо-

мическую и политическую, но и духовную, потому что очень быстро удалось вселить в людей дух стяжательства, дух непомерного, дикого желания обогащаться несмотря ни на какие преграды. Это просто была потеря человеческого образа, и люди не отдавали себе отчёта, какую страшную цену им придётся за это платить. Кстати, огромным утешением было восстановление православной церкви и постепенное вовлечение бывших неверующих и колеблющихся в лоно православия. Каким бы наивным это ни было сначала в смысле познания христианского учения, но люди входили в это лоно, которое могло обеспечить их бытие после смерти, могло защитить их, могло сделать то, что во всех религиях называется «спасением» — спасением от падения вниз, в низшее существование, неизбежно связанное со страданием.

Ну и, всё-таки, конечно, запах свободы был тоже мил, с этим не поспоришь. Да, страна была в опасном состоянии, но свобода была налицо, и мы пользовались ей, наконец-то получив возможность публиковаться в родной стране. Но мы с Машей, да и наше окружение, не забывали о том, что свобода двулика, и один её лик — Божий, а другой — дьявольский. Дьявольская свобода ведёт к гибели, как и свобода джунглей.

Мы стояли у порога совершенно новой жизни, которая началась с 1992 года. В 1993-м мы вернулись в Россию насовсем, и в этом же году увидела свет моя первая философская работа «Судьба бытия» в бывшем советском журнале «Вопросы философии», бывшим главным философским журналом СССР и ставшим главным философским журналом России. И также уже в 1992 году вышел большой том собрания моих художественных произведений. Тем не менее, как бы ни было опасно то, что творилось вокруг, мы осознавали, что всё это является частью, если говорить уже совершенно глобально, той космологической духовной катастрофы, в которую попало человечество, когда оно вошло в цикл

Кали-Юги, в цикл духовного падения. Спасала религия, но тогда, когда религия была вытеснена и заменена верой в золотого тельца и другие иллюзорные цели, то наступило действительно страшное время, когда человеческая цивилизация вдруг превратилась в фабрику, поставляющую души в ад. Потому что, начиная с XX века, имели место такое отторжение духовных ценностей, такая профанация и такая кровожадность мировой истории, соединённая с духовным идиотизмом, что ничего подобного не было никогда. Была жестокость, была кровь, но когда это соединялось с идиотизмом в духовной сфере, с отказом от всего, чем жило древнее человечество, от всех связей с высшими мирами и с Богом, всё это было профанировано, отвергнуто и залито человеческой кровью, то возникало чувство глубокого сострадания и жалости к роду человеческому. Но вместе с тем интуитивно чувствовалось, что не всё кончено, разумеется, что Россия предназначена для важнейших духовных свершений — не только как государство, но и как духовная реальность. Что такие страны Востока, как, например, Индия никогда не лишатся своей духовности, и, таким образом, не всё потеряно. Тем более что Восток всегда был и останется загадкой.

Другим важнейшим чувством было то, что на протяжении веков Запад нападал на Россию. Вспомним смутное время, Карла XII, Шведскую империю, Наполеона, Гитлера, я не говорю уже о других моментах, и вот подвернулась возможность действительно заключить мир между противостоящими сторонами. Но эта возможность была растоптана, потому что вместо равных, дружеских отношений получалось скрытое продолжение холодной войны, то есть разрушительной работы против России, что мы и видим сейчас, в XXI столетии. Жаль, потому что равновесие (я уж не говорю о мире и о дружбе) между разными цивилизациями является единственным выходом из адского круга мировой жизни. В конце концов или это кончится Третьей мировой войной, то есть ядерной

катастрофой, или всё же будет найден путь к сосуществованию разных цивилизаций, потому что идея мирового господства одного государства — это самая чёрная, самая жуткая идея, которая обрекает на страдания не только другие страны, но и самого претендента. Поэтому, желаю, всё-таки, – я не скажу «любви», – но хотя бы тех отношений, которые существуют между людьми (а между людьми существуют и любовь, и дружба, и все человеческие явления), чтобы хотя бы мизерная доля всего этого существовала между государствами, чтобы закончилась эта самоубийственная ненависть, чтобы мы жили в мире с США, Европой, с Китаем и так далее. Кто-то скажет, что это иллюзия… Я не думаю, чтобы это было в полной мере иллюзией. Каким-то образом нормальные отношения в мире восторжествуют — пусть не благодаря любви, пусть благодаря страху и здравому смыслу. Мы в России желаем благополучия и счастья всем народам, включая те государства, которые сейчас враждуют с нами.

Даже такое нереальное в мировой политике явление, как любовь, временами может торжествовать. Я уже упоминал случай Льва Толстого, Ганди и Индии. Это было доказано даже историей, когда освобождение от страшного британского владычества Индии было осуществлено Ганди по принципу непротивления злу насилием, то есть по учению Льва Толстого. Недаром памятник ему стоит в Нью-Дели на самом почётном месте, ибо Ганди руководствовался Толстым в своей революции. Потом кровь всётаки пролилась благодаря исламскому взрыву, но освобождение осуществилось ненасильственно. Это урок. Толстой — это анти-Ленин. И если бы люди последовали за Толстым, то мир сейчас был бы другим. Но проблема заключалась в том, что его требования были слишком высоки. Они были просты, но в то же время недостижимы по тому состоянию рода человеческого, в каковом он пребывал на тот момент (начало XX века). Учение Толстого было

основано на преображении человеческой души, а это было значительно труднее, чем изменить экономику, социальный строй и так далее. Но подобные изменения ни к чему не ведут, кроме смены одних правителей другими. Так и писал Толстой по поводу идиотской теории Маркса. Но всё же идея Толстого, пусть и частично, осуществилась в Индии.

Как мы в двадцать первом, решающем, веке решим все эти вопросы? Совершенно ясно, что от мировой гегемонии тому, кто на неё претендует, необходимо отказаться. Сколько было примеров в истории, когда попытки установления мировой гегемонии терпели полный крах. Это бессмысленное и дьявольское занятие. Нужно признать существование нескольких цивилизаций — европейской, американской, российской, китайской, исламской, индийской — они отличаются друг от друга по ментальности, и признать это — и есть истинная демократия. Почему отдельный человек имеет право быть тем, кто он есть, а народы — нет? И вот тогда возможно будет создать симфонию цивилизаций, и людоедский аспект мировой истории будет устранён. Как это будет на самом деле — другой вопрос, потому что история нового тысячелетия, видимо, будет наполнена невероятными сюрпризами, которые изменят облик мира сего. Мы все будем свидетелями — и живущие здесь, и те, кто пребудет в ином мире, потому что они, конечно, тоже увидят то, что будет происходить на этой земле…

КОНЕЦ

Юрий Мамлеев

Московский гамбит

РОМАН

Роман «Московский гамбит» –
одновременно блистательное описание тайной,
подспудной жизни в Советском Союзе
в 1960–70-е годы и художественное изложение
метафизических идей. Книга иллюстрирована
живописью и графикой всемирно известных
русских художников-визионеров,
в разное время имевших непосредственное
отношение к эзотерическому салону
Ю.В. Мамлеева на Южинском.

Данное издание является наиболее точной
и полной версией произведения,
с авторским дополнением в эпилоге.

Юрий Мамлеев

Россия Вечная

Огненно-пронзительная искренняя книга
Юрия Витальевича Мамлеева «Россия Вечная» –
живой поток, утоляющий жажду взыскующего России.
Через волшебный русский язык,
через великую русскую литературу начинает Мамлеев
познание метафизической сути нашей родины,
проводя через этот процесс читателя.

Его Русская Доктрина берёт новые духовные высоты,
продолжая наследовать русской философии,
всегда ищущей и утверждающей русскую идею.

Эта работа не оставит никого равнодушным,
потому что она заставляла «гореть» самого автора,
считавшего книгу «Россия Вечная»
венцом своего творчества.

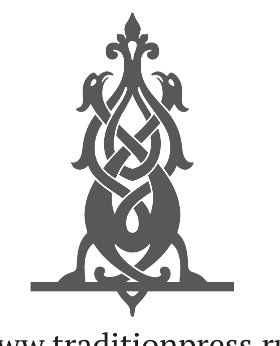
www.traditionpress.ru

Юрий Мамлеев

Невиданная БЫЛЬ

СТИХИ И ПРОЗА

Мир исчезнет… Был он или не был?
Но из уст Кого-не-знал-никто
Потечёт Невиданная Небыль,
И узнает каждый, кто есть кто.



www.traditionpress.ru

Гейдар Джемаль
Стихотворения

Гейдар Джемаль (1947–2016) –
философ, метафизик, поэт, общественный деятель.

Собранные в этой книге
поэтические произведения охватывают
весь его основной период творчества –
с начала 1970-х годов
и до самых последних дней.

Книга «Стихотворения» Гейдара Джемаля
продолжает серию «Метафизическая поэзия»
издательской группы «Традиция».

www.traditionpress.ru

Юрий Витальевич Мамлеев

Воспоминания



www.traditionpress.ru

ИЗДАТЕЛЬ
Андрей Суворов

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Андрей Степанов

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК
Евгения Бубер

ISBN 978-5-9909614-2-5

Печать офсетная. Первый тираж 1001 экземпляр.
Отпечатано в типографии ООО «ДМ-Буквэй», Москва



Вселенскому сну я не верю,
Превратив этот ужас в покой,
Я стою у таинственной двери,
За которой я стану собой.

Юрий Мамлеев